

Реквием последней любви (сборник)

Автор:

Валентин Пикуль

Реквием последней любви (сборник)

Валентин Саввич Пикуль

Исторические миниатюры Валентина Пикуля – уникальное явление в современной отечественной литературе, ярко демонстрирующее непревзойденный талант писателя. Каждая из миниатюр, по словам автора, «тоже исторический роман, только спрессованный до малого количества».

Миниатюры и роман, включенные в настоящее издание, представляют собой галерею блистательных портретов женщин, оставивших свой след в истории XVI – начала XX в.

Валентин Пикуль

Реквием последней любви

© Пикуль В.С., наследники, 2011

© Пикуль А.И., составление, 2011

© ООО «Издательство «Вече», 2011

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

Сайт издательства www.veche.ru

Миниатюры

Последние из Ягеллонов

Бари... Я не знаю, посещают ли этот город в Калабрии наши туристы. Но до революции русские паломники ежегодно бывали в Бари, чтобы поклониться его христианским святыням; из Одессы их доставлял в Италию пароход «Палестинского общества», а билеты богомольцам продавали по заниженным ценам. Наши бабушки и дедушки, даже деревенские, хорошо знали этот город с его храмом Николая Чудотворца, и неудивительно, что в ту пору многие жители Бари владели русским языком. Наконец в 1944 году в Бари по-хозяйски базировались наши самолеты и жили наши летчики, которые, совместно с американскими, обслуживали в горах Югославии армию маршала Тито.

Конечно, во все времена древняя базилика Николая охотно посещалась людьми, в числе ее памятников всех поражала беломраморной помпезностью усыпальница Боны Сфорца, которая была женою польского короля Сигизмунда Старого... Тут я вынужден остановиться, чтобы напомнить: Польша – наша старинная соседка, иногда скандальная и крикливая, но с которой нам все равно никогда не расстаться; сама же история Польши столь тесно переплетена с нашей, что не знать прошлого поляков – хотя бы в общих чертах! – просто непозволительно.

Но однажды я заметил, что мой приятель (человек вроде бы достаточно образованный) небрежно перелистал красочный альбом картин знаменитого Яна Матейко и... зевнул.

– Зеваешь? Не любишь этого художника?

– Люблю, – скромно сознался приятель. – Но, к сожалению, смысл его исторических полотен теряется в бездне моего незнания. Вот тут некая Сфорца принимает лекарство от врача, а вот какая-то Барбара Радзивилл... красивая бабенка! Помилуй, откуда нам знать эти имена, если мы и свои-то растеряли,

заучив со школьной скамьи лишь такие «светлые» личности, как Иван Грозный да Петр Первый, которые клещами палачей да легендарными дубинами прививали европейский лоск нашим достославным предкам, желавшим едино лишь сытости и покоя...

Мне осталось только вздохнуть. Что сказать в ответ, если читатели иногда спрашивают меня – откуда взялась на Руси принцесса Анна Леопольдовна, сына которой благополучно зарезали, почему вызвали из Голштинии сумасбродного Петра III, своих, что ли, дураков не хватало?.. Грустно все это. Но одной грустью делу просвещения не поможешь. Тем более что рассказ о Боне Сфорца я уже начал. Она овдовела в 1548 году, когда скончался ее муж Сигизмунд Старый, сын Ягеллончика...

Катафалк с телом усопшего стоял в кафедральном соборе на Вавеле в Кракове; суровые рыцари в боевых доспехах склонили хорунжи (знамена) Краковии, Подолии, Мазовии, Познани, Вольши, Померании, Пруссии и прочих земель польских.

Жалобно запел хор мальчиков. Монахи поднесли свечи к знаменам, и они разом вспыхнули, сгорая в буйном и жарком пламени. Тут раздался цокот копыт – по ступеням лестницы прямо в собор въехал на лошади воевода Ян Тарло в панцире; поверх его шлема торчала большая черная свеча, коптившая едким дымом.

В руке Тарло блеснул длинный меч:

– Да здравствует круль Сигизмунд-Август!

Имя нового короля, сына покойного, было названо, и канцлер с подскарбием разломали государственные печати – в знак того, что старое королевье кончилось. Сигизмунд-Август снял с алтаря отцовские регалии, и согласно обычаю он расшвырял их, как негодный хлам, по углам собора. В это же мгновение герцог Прусский и маркграф Бранденбургский (вассалы польские) выхватили из ножен свои мечи. С языческим упоением они сокрушали реликвии былой власти над ними. Громко зарыдали триста наемных плакальщиц. Над головами множества людей слоями перемещался угар тысяч свечей и дым сгоревших хорунжей.

Бона Сфорца вдруг резко шагнула вперед и алчно сорвала с груди покойного мужа золотую цепь с драгоценным крестом:

– Не отдам земле – это не ваше, а из рода Сфорца...

В дни траура король навестил мать в королевском замке.

Еще красивая, стройная женщина, она встретила сына стоя; ее надменный подбородок утопал в складках жесткой испанской фрезы. Молодой король приложился к руке матери, целуя ее поверх перчатки, украшенной гербами Сфорца, Борджиа и Медичи, близко родственных меж собою.

– Покойный отец мой, – начал он деловой разговор, – совсем недавно выплатил дань Гиреям крымским, чтобы они дали нам пожить спокойно. Но, получив дань, вероломные татары уже вторглись в наши южные «кресы», угоняя в Крым многие тысячи пленников. Теперь, если выкупать их на рынках Кафы[1 - Кафа – нынешний город Феодосия; с давних времен был главным рынком работоторговли, где татары продавали русских, украинских и польских женщин для восточных гаремов.], нужны деньги, а наша казна пуста...

– Чего ты хочешь, глупец? – жестко спросила Бона.

– Я желаю знать: насколько справедливы те слухи, что вы, моя мать, отправили миллионы дукатов в Милан и в «золотую контору» аугсбургских банкиров Фуггеров?

Бона Сфорца безразлично смотрела в угол.

– Какие вести из Московии? – спросила отвлеченно.

– Иван Васильевич венчал себя царским титулом, а Крымским ханством начал владеть кровожадный Девлет-Гирей. Но я... жду. Я жду ответа о казне Польши, бесследно пропавшей.

Скрип двери выдал гнусное любопытство врача Папагоди, но Бона сделала знак рукою, чтобы сейчас он не мешал.

– Я не только Сфорца, – отвечала мать, гневно дыша, – во мне течет кровь королей Арагонских, кровь благочестивых Медичи и Борджиа, и еще никто не осмеливался попрекать нас в воровстве... Ступай прочь! Зачем ты велел закладывать лошадей?

– Я отъезжаю в Вильно.

Боной Сфорца овладел яростный, дикий крик:

– Твое место в Кракове или в Варшаве... Или тебе так уж не терпится снова обнюхать свою сучку Барбару Радзивилл, которую всю измял бородатый верзила Гаштольд, даже в постели не снимавший шлема и панциря?

Король бледнел от страшных оскорблений матери.

– Но я люблю эту прекрасную женщину, – отвечал он тихо.

– Ах, эта любовь! – с издевкою произнесла Бона. – Меня за твоего отца сватал сам великий германский император Карл, и тебе надобно искать жену из рода могучих Габсбургов, пусть из Вены или из Толедо. Бери любую принцессу из баварских или пфальцских Виттельсбахов, по тебе тоскует вдовая герцогиня Пармская, наконец, вся Италия полна волшебных невест из Мантуи, Пьяченцы и Флоренции, а ты... Кого ты избрал?

– Я никогда не оставлю Барбару, – заявил сын.

– А-а-а, – снова закричала мать, – тебе милее всех эта дикарка из деревни Дубинки, где она расцвела заодно с горохом и вонючей капустой... Чем она прельстила тебя?

– Тем, что Барбара любит меня.

– Тебя любила и первая жена – Елизавета Австрийская.

– Да! – вспыхнул король, обозленный словами матери. – Да, любила... Но вы сначала разлучили меня с нею, а потом извели потаенным ядом из наследия благочестивых Борджиа.

Дверь распахнулась, вбежала Анна Ягеллонка, сестра молодого короля. Рухнула на колени между братом и матерью:

– Умоляю... не надо! Даже в комнатах фрауциммер слышно каждое ваше слово, и лакеи смеются... Сжальтесь! Не позорьте же перед холопами свое достоинство Ягеллонов...

– Хорошо, – согласился Сигизмунд-Август, нервно одернув на себе короткий литовский жупан. – Мертвых уже не вернуть из гробов, но еще можно вернуть те коронные деньги, что тайно погребены в сундуках аугсбургских Фуггеров.

Бона Сфорца злорадно расхохоталась в лицо сыну:

– Ты ничего не получишь. И пусть пропадет эта проклятая Польша, где холодный ветер задувает свечи в убогих каплицах и где полно еретиков, помешанных на ереси Лютера...

После отъезда сына она тоже велела закладывать лошадей. Ее сопровождали незамужние дочери – Анна и Екатерина Ягеллонки. Спины лошадей, потные, были накрыты шкурами леопардов.

– Едем в замок Визны, – сказала Сфорца. Под полозьями саней отчаянно заскрипел подталый снег. – О, как я несчастна! Но вы, дочери, будете несчастнее своей матери... Я изнемогла вдали от солнца прекрасного Милана. Как жить в этой стране, если к востоку от нее – варварская Московия, а из германских княжеств напоззает на Полонию лютеранская ересь. Я не пожалела бы и миллиона золотых дукатов, чтобы в городах моего королевства освещали мне путь костры святой инквизиции.

...Было время гуманизма и невежества, дыхание Ренессанса коснулось даже туманных болот Полесья, а ветры из Европы доносили дым костров папского изуверства. Правда, в Польше тоже разгорались костры: заживо сжигали колдуний, упырей, ворожеек и отравителей. Но казни еще не касались «еретиков» лютеранской веры, поляки тогда были веротерпимы, и Реформация быстро овладевала умами магнатов и «быдла». Бона Сфорца сказала:

– Без псов Господних нам не обойтись...

«Псами Господними» называли себя иезуиты.

В каминах мрачного замка Визны жарко потрескивали дрова, но все равно было зябко. Бона Сфорца накрыла голову испанским беретом из черного бархата, ее платье – платье вдовы – было густо осыпано дождем ювелирных «слез», отлитых при дворе испанского короля Филиппа II из чистого мексиканского серебра.

Махра Вогель, ее приемная дочь, тихо играла на лютне.

– Когда-то и я трогала эти струны, – сказала Бона, вычурно ступая на высоких котурнах. – Но все прошло... все, все, все! Теперь я жду гонца из Вильны, а он все не едет.

– Может, его убили в дороге, – подсказала Махра.

– Такое у нас бывает... часто, – согласилась Бона.

Она выглянула в окно: за рекою чернели подталые пашни, дремучие леса стыли за ними, незыблемые, как и величие древней Полонии. Наконец она дождалась гонца, который скакал пять суток подряд, скомканный вальтрап под его седлом был заляпан грязью, как и он сам. Гонец протянул пакет:

– Из Литвы, ваша королевская ясность.

– Кто послал тебя ко мне?

– Петр Кмит, маршал коронный.

– Что ты привез?

– То, о чем знают уже все. Король и ваш сын Сигизмунд-Август ввел Барбару Радзивилл в Виленский дворец, публично объявив ее своей женою и великой княгиней Литовской...

Нет, ничто не изменилось в лице Боны Сфорца.

- Ты устал? Ты хочешь спать? – пожалела она гонца.

- Да, устал. Хочу спать и – пить...

Сфорца перевернула на пальце перстень, сама наполнила бокал прохладной венджиной и протянула его гонцу:

- Пей. С вином ты уснешь крепко...

Потом из окна она проследила, как гонец, выйдя из замка, шел через двор. Ноги его вдруг подкосились – он рухнул и уже не двигался. В палатах появился маршалок замка:

- Гонец умер. Еще такой молодой... жалко!

- Но он ведь слишком утомился в дороге...

Перстень на ее пальце вдруг начал менять окраску, быстро темнея. Махра Вогель перестала играть на лютне:

- Что пишут из Литвы?

- Дурные вести – у нас будет молодая королева, и сам Всевышний наказал гонца, прибывшего с этой вестью.

Теперь осталось дело за малым: возмутить шляхту и сейм, всегда алчных до золота, чтобы они не признавали брака ее сына. Петр Кмит был давним конфидентом Боны, по его почину быстро собрался сейм. Подкупленные шляхтичи требовали от Сигизмунда-Августа, чтобы он оставил Барбару Радзивилл.

- Эта паненка, – кричали ему, – уже брачевалась со старым Гаштольдом, что был воеводой в Трокае на Виленщине, так зачем нашему королю клевать вишни, уже надклеванные ястребом?

Сигизмунд оставался непреклонен в своем решении:

– Болтуны и пьяницы, замолчите! Я ведь не только последний внук Ягеллончика, но я еще и человек, как и все мы... грешные. А любовь – дело сердца и совести каждого христианина. И вы знаете: да, я безумно люблю Барбару...

Напрасно люблинский воевода Тарло рвал на себе кунтуш:

– Сегодня она только княгиня Литовская, а завтра ты назовешь ее нашей королевой... Пересчитай мои рубцы и шрамы, король! Я сражался за наши вольности с татарами, с германцами, с москвитами, когда тебя еще не было на этом свете. Так мне ли, старому воину, кланяться твоей захудалой паненке?

Сигизмунд-Август усмехнулся с высоты престола:

– Воевода! Барбара достаточно умна и образованна, чтобы даже не замечать, если ты не удостоишь ее своим поклоном...

Во время этого «рокоша» Бона Сфорца сидела в ложе, укрывая за ширмою своего фаворита и врача Папагоди, который был поверенным всех ее тайн и всех ее страстей. Сейм уже расходился, и тогда Бона с кроткой улыбкой подошла к сыну.

– Я уважаю твое чувство к женщине, покорившей тебя, – сказала она прослезясь. – Будь же так добр: навести меня вместе с Барбарой, я посмотрю на нее, и мы станем друзьями...

Здесь уместно сказать: при свиданиях с матерью король не снимал перчаток, ибо в перстнях ее таились тончайшие ядовитые шипы – достаточно одного незаметного укола, чтобы мать отправила на тот свет родного же сына. Сигизмунд-Август отвечал, что согласен навестить ее вместе с Барбарой:

– Но прошу вас не блистать перед ней перстнями...

Барбара, желая понравиться свекрови, украсила голову венком из ярких ягод красной калины – это был символ девственности и светлой любви. Бона расцеловала красавицу:

– Ах, как чудесны эти языческие прихоти древней сарматской жизни! А я начинаю верить, что ваша светлая любовь к моему сыну чиста и непорочна, – добавила Бона с усмешкою.

Стол был накрыт к угощению, в центре его лежала на золотом блюде жирная медвежья лапа, хорошо пропаренная в пчелином меду и в сливках. Но Барбара, предупрежденная мужем об искусстве врача Папагоди, всем яствам предпочла яблоко... только яблоко! Да, сегодня перстней на пальцах Боны не было. Бона взяла нож, разрезая яблоко надвое, и при этом мило сказала:

– Разделим его в знак нашей будущей дружбы...

Наследница заветов преступных Борджиа, она хорошо знала, какой стороной обернуть отравленный нож, чтобы самой не пострадать от яда. Бона Сфорца осталась здоровой, съев свою половину яблока, а любимая Барбара Радзивилл вскоре же начала заживо разлагаться. Ее прекрасное лицо, ставшее сизо-багровым, отвратительно разбухло, губы безобразно раздвинулись, распухая; наконец, ее дивные лучистые глаза лопнули и стекли по щекам, как содержимое расколотых куриных яиц. От женщины исходило невыносимое зловоние, но король не покинул ее до самой смерти и потом всю долгую дорогу – от Кракова до Вильны – ехал верхом на лошади, сопровождая гроб с ее телом...

Барбара была отравлена в 1551 году, а вскоре Сигизмунд-Август, дважды овдовевший, прогнал от себя и третью жену Екатерину из дома венских Габсбургов, брак с которой силой навязала ему мать. Но вслед за изгнанием жены король – в жесточайших попреках! – начал изгонять из Польши и свою мать:

– Только не забудьте забрать и своего любимца Папагоди, которого лучше бы именовать не исцелителем, а могильщиком...

Заодно с любовником Бона Сфорца вывезла из Польши несметные богатства, награбленные еще при жизни Сигизмунда Старого. Семья миланских герцогов Сфорца не пожелала видеть экс-королеву в своем Милане, и Бона перебралась в Бари, где завела пышный двор. Близились ее шестидесятилетие, но Бона еще мечтала об удовольствиях, для чего и заботилась о возвращении молодости, над секретом которой немало хлопотал Папагоди в своей тайной лаборатории. Вскоре, узнав о ее богатствах, испанский король Филипп II выпросил у нее в долг

420 000 золотых дукатов, и Бона охотно отдала их королю, зная, что эти деньги пойдут на искоренение «ереси», чтобы жарче разгорались огни инквизиции.

– Мы распалим в Европе такие костры до небес, что даже у ангелов на небесах обуглятся их ноги! – восклицала она.

После этого, получив личное благословение папы римского, Бона Сфорца собралась нежиться на солнце еще много-много лет. Был уже конец 1557 года, когда врач Папагоди, веселый и красивый, поднес ей кубок с эликсиром для омоложения.

– Выпейте, – сказал он нежно. – Глупо принимать ванны из крови невинных девочек, как это делают некоторые знатные дамы, если вернуть живость юности можно через такой вот декокт, который я приготовил для вас по самым древним рецептам...

Это был отличный декокт – пополам с ядом. Как тут не воскликнуть: «O tempora, o mores!»

Смерть Боны Сфорца совпала с возникновением Ливонской войны, которую слишком рьяно повел Иван Грозный; но, вводя свои войска в земли Прибалтики, царь невольно затрагивал интересы и польской короны, а сама Польша – и даже ее воинственная шляхта – к войне с Россией никак не была готова.

Сигизмунд-Август отмахивался от разговоров о пушках:

– Увы, все пушки заряжаются не порохом, а деньгами...

Он почти слезно умолял банкиров Фуггеров (этих предтечей династии Ротшильдов), чтобы они, мерзавцы, вернули Польше деньги, вложенные в их банк его матерью, но Фуггеры нагло отрицали наличие вклада. Король обратился в Мадрид к Филиппу II, чтобы тот, благородный Габсбург, вернул долги матери...

Король Испании даже НЕ ответил королю Польши!

Ливонская война, столь опрометчиво затеянная русским царем, затянулась на многие годы, но Сигизмунд-Август не помышлял о победах. Отчаявшись в жизни, презренный даже для самого себя, король ужасался при мысли, что остается последним Ягеллоном, и бросился в омут распутства; пьяный, он кричал по ночам:

– Умру, и... кому достанется Речь Посполитая?

Он окружил себя волхвами, кудесниками и магами. Знаменитый алхимик и чародей пан Твардовский (этот польский Фауст) окуривал короля синим дымом, и тогда перед ним возникал дух Барбары Радзивилл. Отделясь от стены, она, почти лучезарная, тянула к нему руки, и король, отбросив чашу с вином, кидался навстречу женщине, а потом скреб пальцами холодную стенку:

– Не мучай! Приди... еще хоть раз. Вернись...

Сигизмунд-Август скончался в 1572 году, и, как сообщает наш великолепный историк С. М. Соловьев, он умер в позорной нищете: «В казне его не нашлось денег, чтобы заплатить за похороны, не нашлось ни одной золотой цепи, ни одного даже кольца, которые должно было надеть на покойника». После смерти последнего Ягеллона в Польше наступило опасное «бескрулевье», в котором сразу появилось немало претендентов на его корону – в том числе хлопотал о ней и русский царь Иван Грозный, вождевший «почати» от Екатерины Ягеллонки.

Но в короли поляки избрали парижского вертопраха Генриха Валуа, сына Екатерины Медичи, который, поразвратничав в Варшаве, однажды ночью бежал из Польши, и новое «бескрулевье» завершилось избранием в короли Стефана Батория, согласившегося жениться на беззубой старухе Анне Ягеллонке. А «невеста» русского царя – Екатерина Ягеллонка – стала женою шведского короля Юхана III, и вот они оба, мужья Ягеллонок, стали побеждать слабую армию Ивана Грозного...

Здесь мне желательно сказать о другом! Ровно через 26 лет после вырождения Ягеллонов безобразно выродилась на русском престоле и правящая династия Рюриковичей; но, согласитесь, есть что-то общее в том, что эти династии, когда-то могучие, завершали свой кровавый путь в презренном маразме слабоумия, в пакости самого гнилостного разврата.

Не вернуться ли нам в древний городок Бари?

Может быть, теперь, когда в нашей стране верующие обретают свободу совести, может быть, повторяю, возобновятся поездки паломников по местам древнейших христианских святынь, и, может быть, они навестят и город Бари, где увидят Бону Сфорца, стоящую на коленях поверх гробницы со своими же костями.

В этом случае хотел бы предостеречь, что кланяться перед Боной Сфорца не надо – она не святая! Эта зловещая дама сделала все, чтобы на земле не осталось Ягеллонов...

Под золотым дождем

Князь Дмитрий Голицын, русский посол в Гааге и знаток искусств, сообщал в небывалом раздражении, что 1771 год стал для Эрмитажа горестным. Картины из собрания Гаррита Браамкампа, закупленные им недавно для императрицы, погибли заодно с кораблем, который на пути в Петербург разбило бурей у берегов финских. Голицын писал, что есть особая причина несчастья, увеличивающая его страдания: «Это – набожность! Да, именно набожность... Море было бурное. Но когда настал час молитв, капитан все бросил и отправился орать свои псалмы с остальным экипажем. И в самый разгар его молитв корабль разбило о рифы... Причина несчастья, – заключал атеист Голицын, – столь великолепна, что доставляет мне удовольствие».

По Европе блуждали слухи, будто Екатерина II послала водолазов-ныряльщиков на поиски погибшего корабля, чтобы спасти драгоценные полотна, но эти сплетни оказались ложными. Императрица отнеслась к потере сокровищ не так горячо, как ее безбожник-дипломат. «Я не любительница, я просто жадная», – откровенно говорила она о своем собрании Эрмитажа. О катастрофе с кораблем императрица известила Вольтера: «В подобных случаях, – писала она, – нет другого убежища, кроме того, как стараться забыть злополучия...» Но уже в январе 1772 года Вольтер отвечал императрице: «Позвольте сказать, что Вы непостижимы! Едва успело Балтийское море поглотить картины, купленные в Голландии на шестьдесят тысяч ефимков, а Вы уже приказываете привезти (картины) из Франции на четыреста пятьдесят тысяч ливров... Не знаю я, –

непритворно удивлялся Вольтер, – откуда Вы берете столько денег?”»

Деньги-то были казенные, а Эрмитаж создавался как личная коллекция императрицы. В собрание образцов искусства Екатерина II вкладывала громадный политический смысл: в пору народных смут и кровавых войн, неурожаев и стихийных бедствий, если она, владычица государства, бухает деньги на покупку картин, значит, в Европе станут думать: ого, дела Русской империи превосходны... Когда же Дени Дидро из Парижа подсказал о распродаже галереи умершего герцога Пьера Кроза, Екатерина еще колебалась. Но в Петербурге у нее был хороший советчик – граф Эрнст Миних, сын фельдмаршала. Вот его она и спросила:

– Стоит ли тратить деньги на картины от Кроза?

Миних был автором первого научного каталога Эрмитажа: приятель Руссо, он собирал для Дидро материалы по экономике России; не доверять его знаниям и его вкусу царица не могла.

– Не ошибусь, – отвечал Миних, – если скажу, что после Орлеанской галереи частное собрание Кроза было лучшим в Париже. Так что платите не раздумывая! Там одного Рембрандта семь картин, там сразу две «Данаи» – Рембрандта и Тициана.

– Уж я-то их не провороню, – решила Екатерина...

...В июне 1985 года советские газеты оповестили читателей, что какой-то негодяй или безумец плеснул кислотой на рембрандтовскую «Даная». Что заставило его уродовать красоту женщины? Но тут же я вспомнил, что в 1976 году – не у нас, а в музее Амстердама! – некий мерзавец, бывший учитель истории, нанес 13 ножевых ран гениальной картине Рембрандта «Ночной дозор». Заодно мне вспомнилось и то злодейское поругание, которому в залах Третьяковской галереи подверглась картина Ильи Репина – царь Иван Грозный убивает своего сына Ивана; в данном случае повинен спятивший богомаз Абрам Балашов. Но примечательно, что никто не обливал кислотой квадратики и кружочки на картинах Кандинского, никто не бросался с ножом на «шедевры» Шагала, у которого по небу летают коровы и женихи с невестами! Удары маньяков и недоумков всегда были направлены на гигантов – от Рембрандта до Репина. Великое и талантливое нас, нормальных людей, восхищает, но

бездарности и психопаты ненавидят великое и талантливое...

Все это, вместе взятое, привело меня к мысли – поведать историю оскорбленной рембрандтовской «Данаи», любимой самим ее создателем и всеми нами.

Рембрандт был влюблен. Рембрандт был еще беден.

Вот его дневной рацион: кусок сыра и селедка с хлебом.

– Достаточно, – говорил мастер. – Теперь работать...

Саския была из богатой семьи с претензиями на аристократизм, а Рембрандт сыном мельника, с которым семья Саскии не слишком-то хотела породниться. В гневе праведном на людскую пошлость художник написал картину на библейскую тему – как Самсон угрожал отцу возлюбленной. Рембрандт автопортретировал себя в виде Самсона, показывающего кулак. Но смысл был далек от легенд: «Отдайте мне Саскию!» – требовал он...

Саския вошла в его дом в 1633 году, когда имя Рембрандта в Голландии уже обрело весомую известность. Он был вполне обеспечен заказами, потому тысячи флоринов, принесенных Саскией в приданое, не обогатили его, а лишь закрепили его положение в чванном обществе бюргеров. Добившись любви патрицианки, художник окружал ее небывалой роскошью. Рембрандт любил Саскию очень сильно, он украшал ее земные прелести жемчугами и бриллиантами. Рисовал и писал с нее множество портретов, в каждом из них стараясь выявить все лучшее, что характерно для женщины, счастливой в упоении счастливого брака. Да, он ее очень любил...

Свой дом в Амстердаме живописец превратил в антикварную лавку редкостей; стены были обвешаны подлинниками величайших живописцев прошлого, шкафы он заполнил ценнейшими гравюрными увражами. Здесь было все, что нужно для возбуждения творческих порывов, и Рембрандт наслаждался лицезрением рыцарских доспехов, чучелами заморских птиц, узорами персидских ковров, раковинами с загадочных островов, его пальцы нежно касались японских ваз, он трогал поющие грани волшебного венецианского стекла, его ученики могли отдыхать, играя на музыкальных инструментах почти всех народов мира.

В этом чудесном доме искусств Саския оживляла быт мастера своим чарующим смехом. А через три года после свадьбы Рембрандт украсил мастерскую новым торжественным полотном.

Это и была наша «Даная»!

Казалось, и конца не будет семейному счастью, но все дети умирали в младенчестве. Саския несла в своем теле неизлечимую болезнь, и в 1642 году она родила Рембрандту последнего сына – Титуса... Титус выжил, но его мать умерла.

Траурная пелена загасила краски мира, былые радости погрузились в глубокую тень. Чья-то рука вдруг опустилась на плечо, и художник обернулся... Перед ним стояла Гертье Диркс – молодая, крепкая, здоровая. И протягивала бокал с вином.

– И это пройдет, мастер, – утешала она. – Пейте...

Рембрандт раньше не удостоивал служанку вниманием.

– Я выпью... Саския взяла тебя в няни Титуса, но я не знаю, кто ты и откуда пришла в мой дом?

– Я вдова корабельного трубача, который так усердно дул в свою трубу, пока не лопнул, как свиной пузырь... Э! Стоит ли мне жалеть об этом негоднике, прости его Боже...

Скоро друзья художника заметили, что Гертье отяготила свой пояс связкою домашних ключей, она держалась слишком уверенно, – как хозяйка. В этой молодой женщине было что-то и подкупающее, иногда она казалась даже красивой. Как бы то ни было, но Рембрандт не тяготился ее любовью. Наверное, он был даже благодарен ей за то, что ласковой заботой она отвлекла его от страданий, вернула ему вдохновение, пальцы мастера снова потянулись к палитре.

Но практичная Гертье Диркс слишком настойчиво стучалась в сердце мастера, она разбудила в Рембрандте совсем иные творческие мотивы, ранее ему никак не свойственные. Так появились картины, в которых женская нагота

пленительно засветилась с полотен. Вот она, эта Гертье: раздобревшая, словно кухарка, от хорошей жизни в чужом и богатом доме, толстая и плотная, она лежит в постели, отдергивая полог... Рембрандт обрел новый взгляд на женщину, изменился характер его творчества, и в 1646 году он переписал «Данаю»!

Впрочем, все складывалось хорошо, пока в доме Рембрандта не появилась новая служанка – Хендрикье Стоффельс.

– Я дочь простого сержанта, – поведала она о себе, – он служил на границе с Вестфалией... Не прогоняйте меня! Мне так уютно в вашем доме, наполненном сокровищами.

Рембрандт погладил ее по голове, как ребенка:

– Не бойся... если ты добра, буду и я добр к тебе.

Гертье Диркс, уже обвешав себя драгоценностями из шкатулки покойной Саскии, ощутила угрозу своему положению.

– Не пора ли нам идти под венец? – настаивала она...

В скромной опрятной служанке Гертье распознала свою соперницу. Ревность перешла в открытую злобу, от злобы недалеко и до подлой мести. Осенью 1649 года Рембрандта вызвали в «Камеру семейных ссор» (была в Амстердаме такая!), и здесь перед синклитом судей Гертье потребовала:

– Пусть он женится на мне, вот и кольцо от него, которое я всегда носила как обручальное. А если не может жениться, так пусть возьмет меня на свое содержание...

Суд постановил: Рембрандту следует выплачивать истице по 200 гульденов ежегодно. Но Гертье недолго злорадствовала: через год ее обвинили во многих грехах, и она оказалась в тюрьме. Утешительницей Рембрандта стала Хендрикье.

– Помни, – говорила она, – что бы ни случилось с тобою, я всегда буду рядом... В счастья и в беде, но – рядом!

Хендрикье заслуживала большой любви – честная, самоотверженная, она ничего не требовала для себя, зато отдавала Рембрандту все... Сюда никак не подходит слово «расплата», но мне кажется, Рембрандт все-таки расплатился с нею галереей ее портретов, на которых она предстает то в одеждах из золотой парчи, то выступает из потемок в простом фартуке, зябко пряча в рукавах натруженные руки... Настал год 1654-й, когда Хендрикье принесла Рембрандту дочь – Корнелию!

Пуританская элита Амстердама, все эти юристы, антиквары, негоцианты, менялы, священники, бюргеры и банкиры, – все эти фарисеи (скажем точнее!) были возмущены.

Хендрикье вызвали в духовную консисторию:

– Распутница и прелюбодейка, соседи обходят тебя на улицах стороною, как чумную... Клянись же перед священным распятием, что покинешь дом Рембрандта, дабы никогда более не осквернять житейскую мораль своей грязной порочностью.

– Нет, не уйду! – гордо отвечала женщина...

Она вернулась к нему, шатаясь, падая от беды.

– Что сделали с тобою? – встревожился Рембрандт.

– Они сделали... отлучили меня от церковного причастия. Я теперь, как собака, не могу войти даже в церковь. Но они не могли лишиться меня святого причастия к жизни Рембрандта...

Через все препоны, через свой женский позор чудесным откровением пришла Хендрикье к нам из прошлого мира и осталась навеки с нами – потрясающей «Вирсавией», заманчивой «Купальщицей», «Венерой, ласкающей амура», – она, запечатленная на этих полотнах, обрела заслуженное бессмертие.

Но дела самого Рембрандта становились все хуже: фарисеи не прощали ему Хендрикье, им не нравилось, что их мещанским вкусам Рембрандт прививает свои вкусы. О нем стали болтать всякую ерунду, заказчики уже вмешивались в его работу:

- Почему вы не гладко кладете краски?

- Но я же не красильщик, а живописец, - бесился Рембрандт.

Его навестил сосед, богатейший сапожник.

- Что вам надо здесь? Что вы шляетесь по комнатам?

- Я куплю ваш дом. Мне он нравится.

- Кто вам сказал, что мой дом продается?

- Соседи. Они сказали, что вы в долгах...

Саскии выпала вся полнота семейного счастья, даже Гертье получила свою долю довольства, зато бедной Хендрикье выпало пережить самое тяжкое. В дом-музей ворвалась яростная и жадная толпа кредиторов, подкрепленная сворой юристов, и они беспощадно описывали имущество художника. Все растащили! Но самое гнусное, самое мерзкое было в том, что среди грабителей появилась и Гертье Диркс, хватавшаяся за испанские стулья, обитые голубым бархатом, за редкостные клинки из Дамаска, она утащила мраморный рукомойник, она вытряхивала белье Рембрандта из орехового комода... Она восторгалась:

- Не хотел быть моим мужем, мазилка! Теперь все мое...

Именно ее подпись стоит под документом, объявлявшим по всей стране о банкротстве Рембрандта. Его, великого голландца, Голландия выбросила из дома, который он создал; он, плачущий, вытащил узел с пожитками на улицу... Теперь в его дом въезжал торжествующий хам-сапожник! Но среди всех потерянных вещей навсегда ушла от взора Рембрандта и картина «Даная». Наверное, он мог бы сказать ей:

– Прощай, любовь... прощай, молодость!

«Даная» ушла, и кисть мастера уже никогда ее не коснулась. Сложными путями картина переходила из рук в руки, пока из парижского собрания Кроза не оказалась в нашем Эрмитаже.

За окнами Зимнего дворца сиренево вечерело...

Картины от герцога Кроза сразу обогатили собрание Эрмитажа. Екатерина с графом Минихом обзревала покупки. Возле рембрандтовской «Данаи» она вскинула лорнет к глазам:

– Быть того не может! Не спору – картина хороша, но... Где же золотой дождь, которым Зевс осыпал Даная, после чего бедняжка сия и забрюхатела, вскорости породив героя – Персея!

Миних пожал плечами, неуверенно хмыкнув:

– Дождя нет, матушка. И сам не пойму, отчего Рембрандт, столь точный живописец, забыл о золотом дожде, проливающимся на узницу, жертву своего злого отца. Однако в коллекции Кроза эта «Даная» висела подле «Данаи» тичиановской... Значит, у самого владельца таких сомнений не возникало!

Екатерина перевела лорнет на творение Тициана:

– Ну, тут все точно, – сказала она. – Червонцы так и сыпят с неба, будто Даная угодила под золотой ливень... Недаром ее служанка подставила под него свой большущий мешок!

Миних, близорукий, приблизился к полотну Рембрандта, он почти обнюхивал картину, и Екатерина расхохоталась:

– Что вы там еще обнаружили, граф?

– Странно! – отвечал Миних. – Даная должна бы смотреть кверху, обзревая золотой дождь, но ее взгляд на картине обращен прямо перед собой... Получается, матушка, так, что эта несчастная ожидает любви земной, а не

небесной!

– Да, – согласилась императрица посмеиваясь, – что-то чересчур странно ведет себя наша Даная...

Итак, стоило картине Рембрандта украсить залы Эрмитажа, как сразу начались загадки. А загадки перешли в раздел непроницаемой тайны, покров с которой не сорван до конца и поныне. На всякий случай я заглянул в популярную «Историю искусств» П.П. Гнедича, который писал, что Даная «представляет молоденькую (?), но почти безобразную (?) женщину, лежащую в кровати на левом боку. Старуха с большим мешком и связкою ключей отдергивает полог кровати, и через образовавшееся отверстие врывается солнечный луч, озаряя нагое тело лежащей... Все догадки знатоков о том, что это жена Товия или что это Даная, не имеют никакого серьезного значения...» Вот те на! Именно этот коварный вопрос – Даная, или не Даная? – больше всего и занимает исследователей, как прежде, так и теперь... К этому вопросу можно добавить и второй, весьма существенный: кто из женщин позировал живописцу для его «Данаи»?

Историки сначала как следует взялись за старуху, непонятно зачем отдергивающую кроватный полог:

– При чем здесь ключи, если служанка была заточена вместе с Данаей, а узница не могла иметь ключей... Наконец, если нет золотого дождя, то к чему она держит мешок?

XVIII век открыл полемику вокруг этой картины, а XIX век продолжил ее, но уже в более резкой форме. Требовали даже переменить название, в 1836 году из Англии поступило в Россию деловое предложение атрибутировать «Данаю» попроще – «В ожидании любовника». Под конец века, и без того бурного, полемика обострилась. Если бы можно было прислушаться к разноголосице мнений, то, наверное, диалог выглядел бы так:

– Это кто угодно, только не Даная... Скорее, это Далила, ожидающая любовного визита Самсона.

– Или жена Пантефрия, ожидающая юного Иосифа.

– Вирсавия! Это Вирсавия ждет своего Давида.

– Дамы и господа! Вы все ошибаетесь: это просто грязная библейская девка Лия, которую обещал навесить Иаков, вот она и раскрылась заранее в трепетном ожидании.

– Пойдите, коллега, а если это – Мессалина?

– Да нет, это библейская Агарь.

– А почему не обычная языческая Венера?

– Кем бы ни была эта женщина, но, простите, Даная без золотого дождя – это уже не Даная. И почему, я спрашиваю вас, золотой амурчик, прикованный к ее постели, горько рыдает, хотя ему надо бы радоваться...

Наконец обратили внимание, что на безымянном пальце левой руки Данаи – обручальное кольцо. Тут уже все полетело кувыркком: «Героиня картины – замужняя женщина. Можно ли представить себе, чтобы Рембрандт столь вольно трактовал тему Данаи? Это решительно немислимо», – писали историки искусств.

– Минуту внимания! – требовали у них знатоки. – В парижской коллекции Кроза картина уже именовалась «Данаей», мало того, она висела над дверями подле «Данаи» тициановской... Не была ли прихоть владельца именно так назвать полотно Рембрандта, чтобы устроить приятный пандан к Тициану?

– Не забывайте о кольце, черт вас побери!

– А вы не забывайте о том, что при описи имущества Рембрандта была изъята картина по названию именно «Даная».

– Так и что нам с того? Наверное, была у Рембрандта картина «Даная», которая до нас просто не дошла...

– Да нет, дошла! Вот же она висит в Эрмитаже.

– А вы мне докажете, что это именно она...

Достоинно удивления, что все эти долгие годы, невзирая на жестокие споры, возникавшие вокруг достоверности Данаи, Эрмитаж названия ее никогда не менял, продолжая называть картину тем именем, с каким она попала в собственность русской императрицы. Пожалуй, нет смысла излагать все версии, высказанные об этой картине, ибо любая из версий тут же опровергалась другой версией, которая казалась более убедительной...

Нашлись историки, судящие чересчур здраво:

– К чему споры? Не лучше ли согласиться с тем, что Рембрандт изобразил бытовую картинку... Ну, была женщина. Ну, долго не видела мужа. Ну, муж сейчас придет. Ну и что?

В новом времени появились новейшие возможности.

Юрий Иванович Кузнецов, советский искусствовед, решил высветить тайны и загадки Данаи лучами рентгена.

Рентгеноскопический анализ – минута почти сокровенная...

– Ну вот и просыпался золотой дождь! – разглядел Кузнецов. – Теперь ясно, ради чего служанка держит мешок...

Аппарат высветил лицо Данаи, и в ее чертах вдруг проступила сама... Саския. Неужели? Неужели опять она? Да, в лучах рентгена возникла прежняя Саския – мало похожая на ту женщину, которую мы привыкли видеть в эрмитажной «Данае».

Рентген продолжал фиксировать сокровенное ранее:

– В первом варианте картины Даная имела прическу, какую мы видим и на портрете Саскии из Дрезденской галереи. А вот и ожерелье на шее, тоже известное по портретам Саскии!

Под рентгеном выявилось, что Даная-Саския раньше смотрела не прямо перед собой, а именно вверх – на золотой дождь.

Аппарат переместил свои лучи на ее руку:

– Положение руки совсем другое! В первоначальном варианте Даная держит руку ладонью вниз – жест прощания, а в картине, уже исправленной, ладонь обращена кверху – призывно...

Наконец, рентген определил важную деталь: раньше бедра Данаи были стыдливо прикрыты покрывалом, и это было понятно, ибо художник оберегал сокровенность своей Саскии.

– Когда же он «сорвал» с нее покрывало?

– Когда разделил одиночество с Гертье Диркс, тогда же изменил и черты лица Данаи, более близкие к типу лица той же Гертье... Амур рыдает, оплакивая счастливое прошлое!

Стало ясно: было две Данаи на одном полотне, как было и два чувства одного человека, одного художника.

Казалось бы, вопрос разрешен. Но выводы Ю. И. Кузнецова подверглись критике. В. Сложеникин так и озаглавил статью: «Все же это не Даная!» Он писал: «Перед нами не Даная, а жена Кандавля, ожидающая Гигеса...» Мне кажется, пусть Даная и далее возбуждает споры; в каждой тайне прошлого открывается стратегический простор для разгадок того, что давно и, кажется, уже безвозвратно потеряно...

Голландию эпохи Рембрандта принято считать свободной страной свободных граждан. Справедливее было бы именовать ее «купеческой республикой», где младенцу еще в колыбели дарили копилку, дабы он с детства возлюбил накопление денег. Человек в такой торгашеской стране считался добропорядочным и благородным только в том случае, если его кошелек распирало от избытков в нем золотых гульденов. Рембрандт, уже обнищавший, превратился в отверженного. Но по-прежнему гордо и вызывающе звучат для нас его вещие слова:

– Знайте же, люди! Когда я хочу мыслить по-настоящему, я никогда не ищу почета, а только свободы. Только свободы...

Рядом с ним шествовала по жизни Хендрикье, и это его поддерживало. Но в 1663 году она умерла. Мы открываем самую печальную страницу бытия: Рембрандт продал надгробие любимой когда-то Саскии, чтобы оплатить могильщикам выкапывание могилы для любимой Хендрикье. Был долгий путь с кладбища...

– Что осталось теперь? Мне теперь ничего не осталось, кроме жизни, которая заканчивается для всех одинаково.

Горько! Титус женился, но после свадьбы умер и Титус; его вдова родила ему внучку Титию и тоже скончалась... Горько!

А ведь была жизнь, была слава, была любовь.

Ах, какая дивная была жизнь! И не страшился грозить кулаком он, еще молодой, жадным накопителям денег.

– Все было, но... все еще будет! – говорил Рембрандт.

После его кончины аккуратные нотариусы Амстердама не забыли составить подробную опись его имущества: в ней значились стулья и носовые платки. Против каждой вещи было написано слово оценщика: «дешево»! Теперь эту опись с небывалой гордостью показывают иностранным туристам.

– Наша национальная святыня! – хвастают гиды.

То, что стулья и носовые платки стоили очень дешево, это в Голландии знают, а вот показать могилу Рембрандта не могут.

– Зато в архивах Амстердама свято оберегается протокол о полном банкротстве Рембрандта... тоже святыня!

Люди, которые похваляются этим, наверное, далеки от понимания трагедии художника. В путеводителях по Амстердаму обязательно значится посещение «дома, в котором жил великий Рембрандт». Но правильнее, на мой взгляд,

писать иначе: «Дом, из которого выгнали великого Рембрандта!»

...После революции в голодном Переяславле наш замечательный мастер Д.Н. Кардовский читал молодежи лекции.

Это были возвышенные лекции о Рембрандте.

– Нам повезло! – говорил он. – Наша страна имеет большую литературу о Рембрандте, наши музеи и даже частные собрания хранят полотна бессмертного живописца...

Кардовский рассказывал о конце Рембрандта, который после смерти Хендрике «остался совсем один, с седой головой...». Он был оклеветан врагами и завистниками, он едва ли был утешен слабым сочувствием лицемерных друзей. Рембрандт, говорил Кардовский, «опустился, стал бродить по ночным кабакам и там напиваться до бесчувствия, наконец он умер в крайней нужде».

Не пора ли, читатель, навестить в Эрмитаже его Данаю?

Теперь мы увидим в ней не только то, что видели раньше...

Будем беречь ее! Она стоит любого золотого дождя...

Славное имя – «Берегиня»

Пусть не свирепеют наши гордые мужчины, если я скажу, что женское здоровье гораздо важнее мужского. У древних славян, наших предков, женщину почитали славным именем – «Берегиня». В самом деле, кто бережет семейный очаг, кто перевязывает раны, кто накормит, кто сошьет одежду, кто наведет порядок в доме, кто примирит ссору в семье? Ко всему этому издревле приспособлена женщина, и, когда она заболевает, дом рушится, мужчина, выпавший из-под женского контроля, превращается в «тряпку», а семья теряет то главное, что скрепляло ее воедино. Следовательно, «берегиня» хранит всех нас, а мы обязаны беречь свою «берегиню». Если же рассуждать о женском равноправии, то оно возможно только в том случае, когда женщина в обществе будет стоять выше мужчины –

на пьедестале! А мы, зазнавшиеся охламоны, проходя мимо, должны снимать шляпы и кланяться ей. Вот тогда и будет подлинное равноправие...

Много лет погруженный в боевое и политическое прошлое России, я, конечно, не раз сталкивался с болезнями давнего времени, какими страдали литературные герои. Мое внимание не задерживалось на недугах аристократов вроде загадочной «хирагры», я не вникал в простонародные, мало понятные для меня «прострелы», – зато я приходил в ужас от стихийных бедствий нации, приносимых эпидемиями чумы, холеры и оспы. Но так уж получилось, что мое внимание в истории народного здоровья не заметило женских болезней, выделенных в особые разделы медицины – гинекологию и акушерство. Конечно, не было на Руси города или деревни, где не нашлось бы «повивальной бабки», умеющей принять ребенка из лона роженицы, но... Но тут возникает вопрос: когда же от этих примитивных «повитух» наша держава обрела подлинно научные методы акушерства?

Поставив женщину на высокий пьедестал, я в своем рассказе не собираюсь сажать ее в гинекологическое кресло. Это уж не мое дело! Но в завершение своей преамбулы приведу лишь один, очень выразительный пример: уже сто лет назад русская гинекология стояла на уровне лучших европейских образцов этой науки. А в Европе XVIII века Страсбург готовил лучших акушеров в мире.

История давняя! После виктории под Полтавой русская армия неожиданно имела тайного союзника – господаря молдавского, князя Дмитрия Кантемира, обещавшего царю помочь своим ополчением и провиантом. Но русская армия (вместе с императором, с Екатериной, его женою, и ее статс-дамами) попала в нерасторжимый капкан янычарской орды, и только богатый выкуп спас нашу армию от позорной капитуляции. Кантемир бежал в русский лагерь – вместе с женой и детьми; людей истомил изнуряющий зной, а гигантские тучи саранчи пожрали всю траву, и русская кавалерия пала от бескормицы...

Петр I вывел армию из кольца окружения; в ее обозе выехала на Русь и семья молдавского господаря. Сам же князь Дмитрий Кантемир – ему сейчас в Румынии ставят памятники! – был человеком умным, владел многими языками, писал книги... Женатый на Кассандре Кантакузиной, он уже имел немалое потомство; среди его сыновей обретал для себя новую родину князь Антиох Кантемир, в будущем знаменитый русский поэт, а тогда трехлетний мальчик. Петр I щедро наградил своего неудачливого молдавского союзника именьями; Кантемиры

жили в подмосковной усадьбе Черная Грязь, где был хороший барский особняк. Но испытания судьбы слишком отразились на жене господаря – Кассандра вскоре умерла. Изрядно погоревав, Дмитрий Кантемир в возрасте 55 лет влюбился в княжну Анастасию Ивановну Трубецкую.

Короткая справка: отец невесты попал в плен к шведам еще в битве при Нарве, и семья его поселилась в Стокгольме, чтобы разделить с ним все тяготы чужеземного плена. Юная Анастасия Трубецкая привлекла вдовца молодостью и европейским лоском, приобретенным ею в Стокгольме. Его свадьба с княжной была отпразднована в январе 1717 года; при этом замечу, что жених принадлежал к редким трезвенникам, и даже император не мог заставить его испить горькую чашу на свадьбе. Сам не пил и не позволял участвовать в ассамблеях ни молодой жене, ни подрастающим детям. Но семейная идиллия бывшего господаря была недолгой: в августе 1723 года Анастасия Ивановна овдовела, от брака с Дмитрием Кантемиром у нее осталась дочь, нареченная двойным именем – Смарагда-Екатерина.

Вот эта женщина и будет достойна нашего внимания!

Она родилась в 1719 году, была образованна и красива, почему гневная императрица Анна Иоанновна, весьма ревнивая к чужой красоте, запретила ей носить локоны в прическе и сверкать при дворе фамильными драгоценностями. В музее подмосковного города Истры сохранился ее портрет в молодости: я согласен, что в такую женщину – да! – можно влюбиться до безумия. Сочетание русской породы от матери с кровью отца-молдаванина подарило девушке чудесную внешность. Но женихов что-то не было. Вернее, их было великое множество, словно карасей в пруду, но кавалеров отпугивала холодная неприступность Смарагды, ее начитанность в философии и даже четкая латынь, к которой она не раз прибегала в разговоре с неотесанными женихами, зарившимися на ее приданое...

Минула мрачная бироновщина, на престоле воцарилась «дщерь Петрова» – императрица Елизавета Петровна, и в жизни многое изменилось. Смарагде уже не приходилось скрывать свои локоны, она смело накидывала на себя горностаевую мантию, скрепляя ее возле плеча алмазным аграфом, доставшимся ей по наследству из шкатулки турецкой султанши. Наверное, молодая женщина делилась перед зеркалом потаенными мыслями:

– Ах, красота! Но... кому нужна ты? Если бы ищущие моей руки и моего сердца знали мою беду, мое непоправимое горе!

На ее столе появились книги по медицине. Смарагду привлекали «материи» женского здоровья. По секрету от других она пыталась распознать причины своего недуга. В 1744 году княжна Кантемир была назначена в камер-фрейлины. Наверное, своей придворной карьерой она была обязана матери: Анастасия Ивановна, близкая подруга императрицы Елизаветы, конечно, порадела о дочери, мечтая составить ей выгодную партию.

– Но я, маменька, еще не влюблена, – отвечала дочь...

Смарагда влюбилась слишком поздно, когда ей исполнилось уже тридцать лет, а по тем временам, когда девочки в 13 или в 14 лет бывали уже замужними, такая невеста считалась «перестарком». Предметом ее увлечения стал бравый капитан Измайловского полка – князь Дмитрий Михайлович Голицын, который латыни не испугался, а в знании Вольтера мог бы еще поспорить и с невестой. Их свадьба состоялась при дворе, присутствовала не только царица, любившая выпить, но были приглашены даже иностранные дипломаты при русском дворе. Елизавета закатила пиршество на двести знатных персон.

Невеста выглядела печальной. Голицын спросил:

– О чем грустишь, душа моя?

– Ах, сударь, не скрою от вас причину уныния...

В первую же брачную ночь Смарагда со слезами призналась мужу, что смолоду ее угнетают женские немочи.

– Деток у нас не будет, – заплакала она.

Дмитрий Голицын, под стать жене, был человеком незаурядным, просвещенным, и он не стал делать из болезни жены семейную драму, ничем и никогда не упрекнул бесплодную женщину.

– Однако же, – сказал он, читая газету из Гамбурга, – такие немочи излечивают на водах Барежа или Пломбьера...

В 1757 году супруги Голицыны отъехали в чужие края и после неудачного лечения на водах оказались в Париже. Историк Н. М. Романов писал, что Смарагда произвела в столице Франции большое впечатление – и необычной красотой, и тонким умом; она держала в своем доме открытый салон для знаменитостей Франции, посвящая свои роскошные вечера беседам о политике, искусствах и достижениях физики. Мария Лещинская, королева Франции, «приняла княгиню Голицыну без всякой церемонии, в шлафроке, в своей спальне... в тот же день она была и у маркизы Помпадурши...». Смее думать, что подобная «вольность» была допущена этикетом Версаля сознательно, ибо в те годы шла Семилетняя война: Россия и Франция – в едином союзе – сражались против стойкой и крепкой армии прусского короля. Внимание русской красавице оказывалось из политических соображений. А вскоре ее муж, князь Дмитрий Михайлович Голицын, занял ответственный пост русского посла в Париже!

Но светская жизнь Версаля мало тешила Смарагду, и скоро Париж был взволнован слухами о ее интимной дружбе с трагической актрисой Клерон – женщиной сложной судьбы и очень характерной как личность. При дворе короля Людовика XV титулованные бездельники судачили:

– Как же так? Утонченная аристократка по отцу, по матери и по мужу стала главной наперсницей этой разнузданной плебейки Клерон, порожденной ткачихой от сержанта, которая до появления в «Комеди Франсез» была жалкой ученицей портнихи...

На самом же деле Клерон была самой яркой звездой Парижа, когда на французской сцене царствовали Мольер, Расин и сам Вольтер, которого она, не боясь гнева королей, посещала в его Фернее. Клерон с блеском отражала эпоху Просвещения, поддерживаемая не только Вольтером, писавшим для нее трагедии; она была слишком чуткой к мнению просветителей-энциклопедистов, ставивших ее талант чрезвычайно высоко. Актеры тогда считались париями большого света, их даже не хоронили на кладбищах, а закапывали по ночам на городских свалках, под грудой отбросов города, словно грязную падаль, и Клерон всю жизнь вела страстную борьбу против беспорядка актеров, за что позже и поплатилась слишком жестоко...

– Вам, дорогая, – говаривала ей Смарагда, – надо бы ехать в Россию, я уже писала императрице Елизавете о ваших страданиях, и русская сцена всегда к вашим услугам...

Это правда: Елизавета Петровна сама хлопотала, чтобы Клерон украсила русскую сцену. Голицына дарила подруге богатые подарки из России, кутала ее плечи в драгоценные сибирские меха и «не могла двух часов без нее пробыть». Смарагда заказала живописцу Ван Лоо портрет актрисы в роли Медеи, парящей в облаках (гравюры с этой картины публиковались в нашей печати). Тогда же художник написал портрет самой княгини. Сейчас он выставлен для всеобщего обозрения в московском Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, и вы, читатель, приглядитесь к этой великолепно-парадной живописи: на фоне торжественной драпировки, сидя в кресле, Смарагда небрежно опирается на клавиш, на ее коленях пригрелась маленькая собачка...

Говоря о дружбе двух женщин, я недаром употребил слово «интимная»: помимо вопросов искусства, их связывал еще и общий недуг – женские болезни. Эта близкая дружба вызвала в Париже не одни лишь толки, но и кривотолки, которые лучше называть грязными сплетнями. Смарагда признавалась Клерон:

– Я чувствую, как угасают мои жизненные силы.

– Мои тоже, – отвечала Клерон. – Не ездите в Женеву.

– Почему, дорогая?

– Я уже побывала там, надеясь получить облегчение от услуг знаменитого акушера Троншена, но он не взялся меня лечить, зато угрожал смертью, если я не оставлю сцену.

– Нет, я не поеду к Троншену, – сказала Смарагда. – Мое счастье, что у меня все понимающий муж и... вы!

Голицына скончалась осенью 1761 года – еще молодой, в расцвете своей красоты и женского обаяния, но уже измученная недугом. Парижская пресса уведомила читателей об отчаянии Клерон, заболевшей после смерти подруги. Дмитрий Михайлович замуровал тело жены, облив его воском, и отвез в Петербург, где она и была погребена. После этого вдовец навестил в Зимнем

дворце умирающую императрицу Елизавету.

– Государыня, – сказал ей князь, – моя покойная жена оставила духовное завещание – не совсем обычное! Страдая в жизни деликатными немочами, она пожелала избавить от подобных страданий других женщин. Ею оставлен немалый капитал ради совершенствования «повивального» дела в России.

Набожная Елизавета перекрестилась:

– Так с одного капитала-то баба здоровой не станет! Эвон, жена твоя... или денег у нее не хватало?

– В том-то и дело, матушка, – отвечал Голицын. – Покойная просила употребить деньги на то, чтобы питомцы Московского университета, склонные к медицине, ехали в Страсбург, славный своим акушерством. Но при этом Смарагда завещала, что на ее капитал должны учиться не приبلудные люди, а только природные русские и жители Белой или Малой Руси (белорусы и украинцы)...

Д. М. Голицын из Парижа был переведен послом в Вену, где 30 лет подряд представлял интересы Отечества. В Москве он отстроил грандиозное здание больницы, которая в народе так и называлась – «Голицынская»; на ее сооружение дипломат отдал 850 тысяч рублей, личные доходы со своих вотчин и все доходы, получаемые им от владения двумя тысячами крепостных. В эту же больницу князь передал богатейшую картинную галерею, которая сама по себе составила редкостные собрания западной и русской живописи. К сожалению, его наследники оказались большими мотами и разбазарили всю картинную галерею по аукционам, так что ко времени революции 1917 года в больнице сохранилось лишь несколько портретов. Сам же создатель больницы был погребен в склепе, выкопанном в подвалах своей больницы. Но это еще не конец нашей истории...

Советские историки медицины не забывают помянуть добрым словом Смарагду-Екатерину Голицыну, на средства которой получили образование основоположники акушерства в России. Мне понятно, почему она в завещании выделила свою неременную волю – учиться в Страсбурге должны только уроженцы России. Я нарочно раскрыл список врачей XVIII века, составленный Яковом Чистовичем, и был поражен: сплошь иностранцы! Они как бы оккупировали медицину в России, и лишь изредка встречались имена русских

врачей, поиски которых были столь же затруднены, как, наверное, и поиски женьшеня в таежных дебрях...

Первым из русских ученых-акушеров я назову Нестора Максимовича, обогатившего свою фамилию латинской приставкой «Амбодик». Сын украинского священника, он сам поехал учиться в Европу, а стипендию княгини Голицыной стал получать уже в Страсбургском университете. Амбодик вернулся на родину с самым лестным аттестатом, но в России иноземцы мыкали его по военным госпиталям, пока он не учинил им скандала:

– Да что вы меня при солдатах содержите, ежели никто из них рожать не собирается! Не ради солдат готовил я себя к искусству повивальному, вот и определите меня по надобности.

В столице он стал обучать акушеров, читал научные лекции на русском языке, что тогда уже казалось неслыханной дерзостью; он первым ввел в практику наложение акушерских щипцов при трудных родах. Лекции его всегда были публичными, их посещали многие женщины, а дабы не оскорблять их стыдливости, Максимович-Амбодик заказал скульптору «фантом» женского таза, из лона которого наглядно появлялся макет младенца, выточенный из дерева. В 1782 году Нестор Максимович стал профессором «повивального искусства», его школа со временем выросла в Повивальный институт. Наконец появилась книга Максимовича под названием «Искусство повиванья, или Наука о бабичьем деле», – первый в России капитальный труд о женском здоровье.

Ознакомясь с этой книгой, я сказал себе:

– Какой там акушер? Так может писать только поэт...

Я не ошибся. Максимович-Амбодик воспел свое дело в стихах, ратуя в них за здоровье матери и ребенка. Он был неутомим в своих трудах, и при нем гинекология прочно спаялась с развитием русской педиатрии. Женщинам он внушал:

– Милая моя! Сотворить дитя да родить его – это лишь начало дела, на то и дура способна. А вам предстоит сберечь себя, помнить, что молоко ваше суть лучшее кормление в мире. Научитесь правильно пеленать и одевать свое чадо, как гулять с ним, чем накормить, не забывайте о детских забавах...

Вы думаете, что Максимович-Амбодик стал главным в своем институте? Ничего подобного: наезжие врачи и явные шарлатаны держали его в черном теле, а начальником института стал венский пройдоха Иосиф Моренгейм. Когда собеседники не понимали его латыни, он переходил на язык немецкий, а когда не понимали и немецкого, Моренгейм выходил из себя:

- О, шорт! Ты есть глупый... турак!

Больше всего он заботился о получении казенных дров, а себя причислял к хирургам. Но коли возьмется за операцию, то человека обязательно зарежет. Завидуя славе Максимовича-Амбодика, Моренгейм тоже сочинил книгу по акушерству, но выпустил ее в свет с портретом императрицы на титульном листе, как будто Екатерина II была в стране главной роженицей. Наконец в Петербурге дознались, что Моренгейм самозванец, он не имел даже лекарского диплома и - на свою беду - потребовал дровишек на зиму от самого Павла I. А каков был этот император, читателям рассказывать не надо - они сами знают.

- Чтоб и духа его здесь не было! - закричал царь...

Судьба второго голицынского стипендиата, Александра Шумлянского, сложилась почти трагически. Еще в Страсбурге он наслушался всяких ужасов о тирании в медицине, о гонениях на русских врачей, которых не мытьем, так катаньем изгоняли из науки по дальним гарнизонам. Шумлянский закупил в Европе нужные инструменты, но тронулся в путь лишь тогда, когда узнал, что ему обещана вакансия лектора в Москве при Воспитательном доме. Он возвращался на родину уже признанным акушером Европы, Париж почтил его титулом «члена-корреспондента».

- Неужели и меня сломают? - говорил Шумлянский...

Сломали! Вакансия оказалась ложной, от его услуг всюду отказывались, Шумлянский жил впроголодь. Однажды ему посулили кафедру акушерства в Калининском училище Петербурга:

- Но там все ученики - одни немцы, а потому, любезный дружище, свои лекции вам предстоит читать по-немецки.

- Ладно, - согласился Шумлянский. - Есть-пить надо...

Но и в этой кафедре тоже вскоре отказали:

- У вас большие претензии! А на эту кафедру имеются уже два кандидата - Иоган Лобенвейн и Томас Гофман...

Над Шумлянским попросту издевались. Дабы не умереть с голоду, в нищете, он существовал гонорарами за переводы книг с других языков. Наконец барон Фитингоф, заправлявший всей медициной в России, позволил ему вести кафедру терапии в Москве.

- Да ведь к акушерству готовил я себя!

- Как вам угодно, - отвечал Фитингоф...

Дали кафедру и опять отняли, а барон объяснил:

- Ваше место надо освободить для врача Пеккена...

Наверное, Смарагда Голицына недаром заклинала в своем завещании, чтобы на ее капиталы учились непременно русские, ибо догадывалась о чужеземном засилье в медицине. Шумлянский уже изнемог в борьбе, его здоровье было подорвано постоянной нуждой, и лишь незадолго до смерти его сделали «градским акушером» в Москве (память о нем очень долго хранилась среди москвичей). Шумлянский ступил на порог смерти, когда Медицинская коллегия наконец-то признала его заслуги, избрав его в почетные члены Коллегии «за таланты его, трудолюбие и ученость и некоторые прославившиеся его сочинения».

- Это венок на мою могилу, - предрек Шумлянский...

Горько писать об этом, но писать надо, чтобы наши читатели (и особенно женщины) знали, с каким трудом, в каких муках зарождалась охрана женского здоровья в нашей стране. Но поступь времени было не задержать, русская наука не стояла на месте - она двигалась заодно с Россией. Древний опыт наших сельских «повитух» завершился победой научной гинекологии. Здесь нет смысла

перечислять корифеев русской и советской науки о женском здоровье – их славные имена увековечены на мемориальных досках тех больниц и тех институтов, где они работали на благо отчизны.

Скажем точнее – на благо женщины!

Я заканчиваю историю тем, с чего и начал: здоровье женщины да будет для нас всегда священным, ибо здоровая женщина – это здоровая семья, это здоровье всей нации. «Берегиня» бережет нас, мужчин, а мы, мужчины, обязаны беречь свою «берегиню».

...Но все-таки, читатель, если будете в Истре или в Москве, навестите музей, чтобы глянуть на портреты Смарагды-Екатерины Голицыной: да, очень красивая женщина.

Очень красивая и... очень несчастная!

Маланьина свадьба

Недавно я был искренно удивлен, узнав, что некий Дениска по прозвищу Батырь (Богатырь), новгородский раскольник, бежавший на Дон от преследования властей, первым браком был женат на дочери знаменитого атамана Степана Разина.

Звали ее слишком вычурно для того времени – Евгенией, и, по слухам, она обладала столь несносным характером, что бедный Батырь не знал, как от нее избавиться. Нравы на Дону были тогда примитивные, а разводов не ведали. После очередной домашней баталии взял Дениска свою неугомонную Степановну за шиворот и силком оттащил на майдан, где шумела ярмарка.

– Эй, кому жинка нужна боевая? – вопрошал он, и, конечно, нашлись храбрецы, которые прямо с базара увели Степановну для ведения домашнего хозяйства и прочего...

От этого-то Дениски пошел дворянский род Денисовых, а позже образовался знатный род графов Орловых-Денисовых. Я перебираю легендарные донские родословия: Платовы, Ефремовы, Грековы, Орловы, Карповы, Егоровы, Иловайские, Кутейниковы, Денисовы, Ханжонковы – все донцы-молодцы, которые из казаков сделались генералами, обрели потомственное дворянство, а иные украсились символикой аристократических титулов.

Но... что мы теперь знаем о них? Мало. Забыли.

А разве не приходилось вам слышать, как, увидев щедро накрытый стол, гости восторженно восклицают:

– Да здесь всего хватит даже на маланьину свадьбу!

Мелания – слово греческое, означает оно «черная, мрачная, жестокая», но в народном говоре это имя произносят как Маланья, и я буду придерживаться такого же написания. Маланью часто поминают в народе, а вот спроси любого – кто такая была эта Маланья, в ответ только пожмут плечами в недоумении, не зная, что Маланья – лицо историческое, и она, думаю, стоит того, дабы поведать о ней бесхитростно...

Читатель, надеюсь, простит мне, если я окунусь в старину-матушку, дабы выявить истоки рода Ефремовых. Жил да был московский купец Ефрем Петров, которому большей прибыли захотелось, ради чего около 1670 года он переселился в Черкасск – стародавнюю столицу донской вольницы, где имели жительство ее грозные атаманы. Иностранцы прозвали этот город «донской Венецией», благо каждую весну Дон широко разливался, из воды торчали луковицы храмов и крыши богатых «курений» с купами цветущих левад-садов. Дон хорошо кормил людей стерлядями и раками, а кто побогаче, тому подавали к столу лебедей...

Вот тут Ефрем Петров и развернулся во всю свою ширь.

Жили казаки шумно, сытно и пьяно – только успевай наливать да торговать, себя не забывая. Ефрем торговал столь прибыльно, что в большую силу вошел – старшиной стал. Но конец жизни Ефрема обнаружим в 1708 году, когда Кондратий Булавин поднял восстание на Дону, а казаки порешили Ефрема повесить «за неправду и многие разорения». Основатель династии повис и висел

долго, пока веревка не перегнила...

Но его сын Данила обрел по имени батюшки фамилию и стал писаться Ефремовым. «Многие разорения» для казаков обратились от отца к сыну великим богатством. И стало это богатство почти сказочным, когда императрица Анна Иоанновна благословила его в атаманы. И был у атамана сын Степан, внук повешенного, вот они и прибрали Тихий Дон к своим рукам, столь загребушим, что отныне всюду торговали их лавки, лилось вино в их кабаках, крутились на реках их водяные мельницы, а в необозримых степях скакали их тысячные табуны лошадей. Возводили Ефремовы такие «куренья», что лучше называть их дворцами, а отличались они по цвету раскраски – Белый, Зеленый, Красный.

Данила Ефремов славился удалью и хитростью; он отличился еще в Северной войне, с налету захватив штаб-квартиру шведского короля Карла XII; когда же калмыцкая орда Довдук-Омбу вдруг откочевала на Кубань, чтобы подчиниться султану, Ефремов сам поехал в ставку хана, уговорив его вернуть калмыков на их прежние волжские кочевья. В царствование Елизаветы атаман Данила обрел чин генерал-майора, из военных походов он возами свозил к себе «добычу», а русских мужиков, бежавших на Дон ради «воли казачьей», атаман безжалостно закабалял, делая их своими крепостными, и – богател, богател, богател... Данила скончался в 1755 году, передав атаманский «пернач» (символ власти) своему сыну Степану.

Степан Данилович повершил отца. Да и везло ему так, как никому. Угораздило же его летом 1762 года возглавить делегацию донских старшин, посланных ко двору с лебедями и вкусными рыбками. А тут как раз случилась престольная суматоха: Екатерина Алексеевна муженька своего свергла с престола, сама воссев на нем как владычица империи, а старшины, не будь дураками, поддержали ее своим горлопанством, и тогда же – в это жаркое лето – царица заметила Степана Даниловича:

– Коли ты атаман после покойного батюшки, так я на Дон полагаться стану, яко на свою лейб-гвардию полагаюсь, а ты мне руку целуй да не забудь моей милости...

Отец и сын, обласканные свыше, 44 года подряд на Дону атаманствовали, это было «золотое время» Ефремовых, которые сделались местной аристократией – не хочешь, да поклонись им! Десять лет прошло с того дня, как лобызал Степан Данилович длани императрицы, много воды утекло, а Тихий Дон уже

волновался. Издревле казаки привыкли жить по своей воле, а тут пошел слух, будто Войско Донское обратят в регулярное. Как раз в эти годы шла война с Турцией, из Петербурга понукали Ефремова (и не раз!), чтобы слал донцов на войну, но он, потакая «вольностям» казацким, все указы из Военной коллегии клал под сукно, говоря войсковому писарю:

– Не забудь, куды я сховал их. Придет время – достанем и честь будем, а пока указы эти хлеба не просят...

Дальше – больше! Ефремов препятствовал и строительству крепости Св. Дмитрия Ростовского (будущего города Ростова-на-Дону), всячески ратуя за обособленность донского казачества от властей столичных, считая, что «Дон – сам себе голова, а других голов и не надобно». Дон как бы выпал из-под контроля государственной власти, а щедрые взятки, которые давал атаман, делали его почти неуязвимым, и потому Степан Ефремов творил на Дону все, что его левая пятка пожелает...

Но однажды Степан Данилович решил прогуляться по улицам Черкаска да заодно на базар заглянуть – нет ли там драки? И тут он приметил казачку красоты писаной, стояла она посередь базара, держа на локте связки громыхающих бубликов.

Донской атаман от такой красы даже оторопел.

– Кто такая? – грозно спросил он.

– Маланья, – подсказал писарь...

Вот тут-то и началось! Пропал атаман.

Конечно, атаман не сразу на девку накинулся.

– Дешевы ли бублики? – спросил ради знакомства.

Казачка глазами повела, брови вскинула, носик вздернула – ну такая язва, не приведи господь бог. Ответила:

– Вижу, что тебе, атаман, не бублик надобен, а дырка от бублика. Так покупай, коли грошей у тебя хватит...

Ефремов такой наглости не ожидал, но уж больно понравилась ему эта дерзость. Он приник к уху девичьему, нашептывая:

– Слышь, а... пойдешь ли за меня?

Маланья подбоченилась, бедром вильнув:

– Да старый ты... на што мне гриба такого?

Степан Данилович произведен на свет был после Полтавы, Маланья годков на двадцать была моложе, а по тем временам мужчина даже в сорокалетнем возрасте считался уже стариком. Очень обиделся атаман, старым грибом названный. Но гордыню смирил, убеждая девицу ласково:

– Вникай, Маланья: я уже двух жонок схоронил, а тебя, яко пушинку, беречь стану, и ты сама-то подумай, что в положении атаманши тебе немалые услады достанутся.

– А покажи... услады свои! – раззадорила его Маланья.

Тут Степан Данилович развернулся и треснул кулаком в ухо писаря, чтобы не прислушивался к их любезной беседе.

– Идем, коли так, – велел он девице. – Я тебе такое покажу... не помри только от радости!

Привел молодуху в свой дом, строенный в стиле итальянского барокко, распалил свечку, и спустились они в подвал. А там, в подвале, пока Маланья свечку держала, атаман, похваляясь силою богатырской, кидал к ногам ее мешки тяжкие – какие с серебром, какие с золотыми червонцами; открывал перед ней ларцы, сплошь засыпанные жемчугами; отмыкал гигантские сундуки со сверкающими мехами и свитками шелка персидского. Наконец устал ворочать тяжести, сел в углу и заплакал:

– Нешто тебе не жалко меня, Маланья? Да я ради тебя... Убью, ежели за меня не пойдешь! Ты сама-то видишь ли, что все твоим будет? А ежели мало, так мы еще награбастаем... Как по батюшке-то тебя величать прикажешь?

– Карповной, – отвечала Маланья, прикидывая на руку тяжелые нитки жемчуга и ожерелья – столь же легко и проворно, как еще вчера навешивала на себя гремящие связки бубликов. – А детки-то у нас будут ли? – деловито спросила она, словно заглядывая в свое прекрасное будущее.

Свеча догорела, и во мраке слышались клятвы атамана:

– Да я... да мы... Ах, Маланья! Себя не пожалею. Ты уж только не возгордись, а я себя покажу в лучшем виде...

Свадьба была такая, что даже удивительно – как это Дон не повернул вспять? Загодя свозили в Черкасск вина заморские и отечественные, гнали на убой для жаркого стада телят и овец, рыбаки тащили из реки сети, переполненные лещами, сазанами и щуками. Праздничные столы прогибались от обилия яств, и войсковой писарь уже не раз намекал:

– Может, и хватит уже? Ведь лопнут же гости!

– На Маланьину свадьбу никогда не хватит, – отвечал атаман. – Гляди сам, сколь гостей поднаперло со всего Войска Донского, войска славного, и каждому угодить надобно...

Как сели за столы, так и не вставали. Луна перемежалась с солнцем, петухи праздновали рассветы, а гости все сидели и сидели, все ели и пили, пили да ели. Для тех, кому невмоготу было, для тех были заранее заготовлены короткие бревна: покатается он животом на бревне, чтобы в животе улеглось все скорее, и снова спешит к застолью. Неделя прошла, за ней вторая, вот и третья открылась – свадьба продолжалась.

– Ай да Маланья! Вовек тебя не забудем, – шумели гости, вставая от стола в очередь, чтобы на бревне покататься...

И верно – до сих пор не забыли на Дону Маланьину свадьбу, а слух о ней пошел по всей Руси великой, и, кто не знал, тот узнал, что есть на белом свете такая окаянная Маланья, для которой атаману ничего не жалко... Эх, гулять так гулять!

Потом народ интерпретировал эти слова о свадьбе, и стали в эту «Маланью» вкладывать различный смысл.

– Что ты разводишь маланьины сборы, – раздраженно говорили мужья медлительным женам.

– Ты считай, милок, по-честному, а не по маланьиному счету, – говорили путаникам или обманщикам.

– Не хватит ли куховарить? Ведь у нас, слава богу, не маланьиная свадьба, – ругали кухарок за излишнюю щедрость...

Казалось, конца не видать атаманскому счастью. С годами появились и дети, Маланья раздобрела, приосанилась, в церемониях выступала павою. Уже начинались семидесятые годы столетья, на Яике давно было беспокойно – там казаки буянили, а на Дону тоже волновались, боясь, как бы их, донцов, не обратили в регулярную кавалерию. Война с турками продолжалась, Степан Данилович по-прежнему клал под сукно указы Военной коллегии; угождая своеволию казаков, он притворствовал, делая вид, что интересы общинные, чисто донские, для него всегда дороже дел государственных – общероссийских...

– Коли на Яике бунтуют, – пугал его писарь, – так не станется ли у нас заваруха приличная?

– Дурак, – важно отвечал Ефремов. – Да я только свистну – и на Дону все притихнут, ибо атаманов с таким решпектом, каков у меня, еще не знавало Войско Донское...

Настал 1772 год. Ефремов с семьей проживал подальше от Черкаска – в Зеленом дворце, и, казалось, ничто не предвещало беды. Нежданно-негаданно вдруг наехали чины всякие с солдатами, весь дом взбулгатили. Не успел атаман опомниться, как уже кандалами забрякал, а чиновники над ним измывались:

– Каково, атаман? Или думал, что у нашей матушки-государыни руки коротки, не дотянуться ей до Тихого Дона?

Повезли его в крепость Св. Дмитрия (будущий Ростов), а в воротах крепости поджидал его зверь-генерал Хомутов:

– Ну что, атаман? Доворовался? Нахапался от старшин да купцов акциденций, сиречь взяток? Ныне отрыгнешь все, что сожрать успел. Я из тебя душу вытряхну...

Пока Ефремов сидел на цепи, словно собака, из Петербурга нагрянула в Черкасск комиссия, чтобы подчистую конфисковать все имущество атамана. Но Маланья ужом извернулась, а сумела утаить от описи немало добра, в укромных местах попрятала драгоценности. Хомутов, комендант крепости, имел давние обиды на Ефремова, надеясь не вызволять его из крепостного узилища. Но пришло повеление свыше – доставить атамана в Петербург под строжайшим конвоем, как злодея бессовестного. Всю дорогу до столицы Степан Данилович поминал слова Екатерины II, втайне уповая, что императрица еще не забыла его услуг, какие он оказал, помогая ей свергать дурака мужа...

Привезли! Перед синклитом Военной коллегии заробел атаман, бухнулся в ноги сердитым генералам, плачущий:

– Хосподи, да сыщется ли вина на мне, стареньком?

Тут атаману предъявили полный реестр грехов его: взятки, поборы, кумовство, казнокрадство и – главное! – упорное неисполнение приказов Военной коллегии. Ефремову стало жутко:

– Да вить кто из нас не без греха? Смилуйтесь...

– Молчи! – отвечали ему. – Молчи, паскуда, и жди решения суда военного, суда праведного, суда неподкупного...

Судили жестоко, зато и честно – по законам военного времени. В конце длинной сентенции, когда секретари ее вслух зачитывали, Ефремов услышал внятные слова приговора:

- ...и предать его смерти - ЧЕРЕЗ ПОВЕШЕНИЕ!

Вот она, судьба-то, какова: деда булавицы вешали, а по его шее генералы да сенаторы хлопчут. Смертный приговор принесли императрице на «апробацию». Екатерина согнала с колен пригревшуюся собачонку, обмакнула перо в чернильницу.

- Отчего жестокость такова? - спросила она. - Коли смерти достоин, так и вешайте, но иным мнением я озабочена: что скажет Европа? Обо мне и так болтают всякое о жестокосердии моем. Нельзя ли веревку для Ефремова заменить пожизненной ссылкой в такие места, куда и Макар телят своих не гонял...

Степан Данилович был сослан аж на «край света» - в город Пернов (ныне эстонский Пярну). Там, на берегах Балтики, рыбка тоже ловилась, только далеко ей до стерлядей Дона, и пришлось атаману довольствоваться лососиной. Старея, все чаще поминал он веселую свадьбу с Маланьей и плакал:

- Всех накормил! Ни один трезвым от меня не ушел, а теперь страдаю за вольности казацкие... Хоть бы кто при дворе за меня словечко замолвил. Авось и полегчает!

Скоро в Пернове появились сосланные сюда яицкие казаки, которых миловали после восстания Пугачева. Но по пьяному делу все меж собою передрались, ибо яицкие казаки не могли донским казакам простить того, что они не пристали к Пугачеву.

Крепко побитый, Степан Данилович сел писать императрице о милости, ссылаясь на старость и хворобы свои.

- Ну ладно, - рассудила императрица. - Коли ему невтерпеж стало, пусть в Петербург явится, только сразу предупредите злодея, что Дона ему не видать: здесь и оставит кости!

Свои грешные кости Степан Данилович Ефремов навсегда оставил на кладбище Александро-Невской лавры столицы, потомки же атамана (уже сами в чинах немалых) соорудили памятник, на котором было начертано, что грозный атаман

преставился 15 марта 1784 года, а «всего жития его было 69 лет».

Маланья Карповна жила еще долго... долго жила!

В новом времени хорошо вспоминается старое... Впервые помянутый еще в лихие годы Ивана Грозного казачий городок Черкасск стал потом станицею Старочеркасской, а ныне она превратилась в заповедник прошлого казачьего быта. Дворец атамана Ефремова, в который он когда-то ввел красавицу Маланью, уцелел до наших дней, и сейчас в нем разместился музей – чрезвычайно интересный! Этот музей возник совсем недавно, и благодарить за его создание мы должны нашего незабвенного Михаила Александровича Шолохова...

Среди многих уникальных портретов донцов-героев, оставивших свои имена в русской истории, представлены и бывшие хозяева этого дворца-музея – оба изображенные в полный рост. Вот и сам атаман Степан Данилович, еще в пору своего величия, даже медали на нем художник выписал червонным золотом; а вот и его боевая атаманша Маланья Карповна...

Да, грозен атаман, но до чего же хороша его атаманша!

Маланья Карповна на много лет пережила мужа, и теперь при домово́й церкви ефремовского дворца-музея любители старины ищут ее могилу, которая откроет нам точные даты ее странной жизни, памятной нам именно «маланьиной свадьбой».

Надо полагать, у этой женщины, явившейся в историю прямо с базара, было немало всяких грехов, ибо, взыскуя прощения перед Богом, она в конце своей жизни не пожалела денег на создание Ефремовского женского монастыря.

О ней сохранилось немало легенд, но вот, читатель, самая странная легенда: после ареста мужа и ссылки его Маланья Карповна негласно вступила в права атаманши; исподтишка, но достаточно властно, эта бабенка, хитрая и лукавая, управляла на Дону, и слово ее было законом для всех казаков. Не потому ли портрет Маланьи, писанный еще в год свадьбы, с давних пор был выставлен в атаманском дворце – среди изображений многих донских атаманов?

Я закончу рассказ еще одной памятной поговоркой:

– Какова наша Маланья, таково ей и поминанье!

Коринна в России

Мне вспоминается, что поэт Байрон, послушав салонные разговоры Жермены де Сталь, упрекал ее за то, что она мало слов публикует, зато много речей произносит:

– Коринна пишет *in octavo*, а говорит *in folio*...

Байрон отчасти был прав: еще в Веймаре, где писательница гостила у Гёте и Шиллера, она так замучила их своими рассуждениями, что после ее отъезда они с трудом опомнились:

– Конечно, никто из мужчин не сравнится с нею в красноречии. Но она обрушила такие каскады ораторского искусства, что теперь нам предстоит лечиться долгим молчанием.

Не в меру говорливая, она была и не в меру влюбчивой.

Чересчур женщина, баронесса де Сталь почти с трагическим надрывом переживала приближение сумерек жизни:

– Когда я смотрю на свои роскошные плечи и озираю величие этой пышной груди, вызывающие столько нескромных желаний у мужчин, я содрогаюсь от ужаса, что все мои прелести скоро сделаются добычей могильных червей...

Кто восхищался ею, кто ненавидел, а кто высмеивал.

Писательница высказывалась очень смело:

– Чем неограниченнее власть диктатора, тем крупнее его недостатки, тем безобразнее его пороки! Сейчас во Франции может существовать только тот писатель, который станет восхвалять гений Наполеона и таланты его министров, но даже такой презренный осужден пройти через горнило цензуры, более схожей с инквизицией... Покоренные народы еще молчат. А зловещее молчание наций – это гневный крик будущих революций!

Подлинное величие женщина приобрела тем, что всю жизнь была гонима. Однажды она спросила Талейрана: так ли уж умен Бонапарт, как о нем говорят? Ответ был бесподобен:

– Он не настолько храбрый, как вы, мадам...

Наполеон отзывался о ней: «Это машина,двигающая мнениями салонов. Идеолог в юбке. Изготовительница чувств».

– Я уважаю мусульманскую веру за то, что она держит женщину взаперти, в гаремах, не выпуская ее даже на улицу. Это гораздо мудрее, нежели в христианстве, где женщине позволяют не только мыслить, но даже влиять на общество...

Тогда в Париже можно было подслушать такой диалог.

– Если бы я была королевой, – сказала одна из дам, – я бы заставила Жермену де Сталь говорить с утра до вечера.

– Но будь я королем Франции, – был ответ собеседника, – я бы обрек ее на вечное молчание... Она опасна!

Коринна все делала вопреки Наполеону: он покорял Италию, она писала о величии итальянской культуры, он громил пушками Пруссию, она воспевала идеалы германской поэзии. Наполеон утверждал: «Я требую, чтобы меня не только боялись, но чтобы меня и любили!» Наказав де Сталь изгнанием, он преследовал ее всюду, словно издеваясь над женщиной: «Она вызывает во мне жалость: теперь вся Европа – тюрьма для нее». Когда в 1808 году ее сын Огюст сумел проникнуть в кабинет императора, умоляя снять опалу с матери, Наполеон отвечал юноше:

– Ваша мать лишь боится меня, но почему не любит меня? Я не желаю ее возвращения, ибо жить в Париже имеют право только обожающие меня. А ваша мать слишком умна, хотя ум ее созрел в хаосе разрушения монархий и гибельных революций. Теперь там, где все молчат, ваша мать возвышает голос!

Роман «Коринна, или Италия» сделал имя мадам де Сталь слишком знаменитым, но книга вызвала в Наполеоне приступ ярости, ибо писательница осмелилась рассуждать о самостоятельности женщин в общественной жизни государства:

– Назначение бабья? – плясать и рожать детей! – говорил император. – Не женское дело переставлять кастрюли на раскаленной плите Европы, тем более залезать на мою кухню, где давно кипят сразу несколько политических и военных бульонов. В моей империи счастлив только тот, кому удалось скрыться так, чтобы я даже не подозревал о его существовании...

Все дороги на родину были для нее перекрыты.

– Если мораль навязана женщине, то свобода женщины будет протестом против такой морали, – говорила она и, как никто, умела доводить свои страсти до безумной крайности, только в полном раскрепощении чувств считая себя свободной.

Недаром же одна из ее книг была названа «Размышление о роли страстей в личной и общественной жизни». Жермена смолоду была избалована вниманием мужчин, которых иногда силой ума принуждала любить ее, обожанием поклонников таланта, в обществе ее часто называли Коринной по имени главной героини нашумевшего романа. Успех романа о женщине, презревшей условности света, был потрясающим, в России нашлось немало читательниц, просивших называть их Кориннами, а княгиня Зинаида Волконская вошла в историю как «Коринна Севера».

Вечно гонимая императором, зимою 1808 года мадам де Сталь появилась в блистательной и легкомысленной Вене, где ее принимала знать, униженная победами Наполеона; принимала ее лишь потому, что она ненавидела Наполеона. Черные волосы писательницы прикрывал малиновый тюрбан, столь модный в том времени, на груди колыхалась миниатюра с портретом ее отца Неккера, плечи украшала турецкая шаль, а в руках трепетал веер, которым Жермена регулировала пафос своих речей, управляя вниманием общества, как

дирижер послушным оркестром.

Ей докучали в Вене великосветские сплетницы. Одна из венских аристократок, графиня Лулу Тюргейм, оставила мемуары, в которых жестоко порицала писательницу за излишнюю экзальтацию чувств. О выступлении ее на сцене театра Лулу писала: «Хуже всего было то, что выступала сама мадам де Сталь с ее расплывшейся фигурой, едва прикрытой кое-каким одеянием. В патетических местах она егзила по сцене на коленях, ее черные косы волочились на полу, лицо наливалось кровью. Зрелище было далеко не из эстетических...»

Сергей Уваров, близкий приятель де Сталь, писал о тамошней аристократии: «Они ведут замкнутый образ жизни, прозябая в своих огромных дворцах, куря и напиваясь в своей среде... они презирают литературу и образованность, необузданно увлекаясь лошадьми и продажными женщинами». Казалось, музыка заменяла аристократам все виды искусств, и потому мадам де Сталь не нашла в Вене «немецкого Парижа». Завернутый в трагический плащ русского Вертера, Уваров потому и стал ее наперсником, ибо владел пятью языками, стихи писал на французском, а прозу по-немецки... Он внушал женщине:

– Здесь мало кто способен оценить ваше гражданское мужество, а подлинных друзей вы сыщете только в России...

Это правда, тем более что не венские вельможи, а именно она, женщина и мать, двенадцать лет подряд испытывала гнев зарвавшегося корсиканца. Умные люди, напротив, очень высоко чтили писательницу, и философ Август Шлегель, толкователь Вергилия, Гомера и Данте, сам не последний поэт Германии, уже не раз убеждал Коринну:

– Не мечите бисер перед венскими свиньями, выше несите знамя своего разума. Я был воспитателем ваших детей, так не заставляйте меня воспитывать вас. Вы бежали от гнева кесаря в Вену, но куда побежите, если кесарь окажется в Вене?

– О, свет велик, и все в нем любят Коринну.

– Согласен, что любят, но приютить вас отныне может только страна, где еще не погас свет благоразумия...

Жермена покинула вульгарную, злоречивую Вену и поселилась в швейцарском кантоне Во, где у нее было отцовское поместье Коппе. Властвовать умами легче всего из глуши провинции, и Коппе был для нее убежищем, как и Ферней для Вольтера. Но времена изменились. Местный префект слишком бдительно надзирал за нею, ибо швейцарцы боялись наполеоновского гнева, способного обернуться для них оккупацией и поборами реквизиций. Всех гостей, побывавших в Коппе, Наполеон велел арестовывать на границе; наконец, мадам де Сталь тоже не чувствовала себя в безопасности... Шлегелю она призналась:

– Меня могут просто похитить из Коппе, благо Франция рядом, и я окажусь в парижской тюрьме Бисетра...

Настал 1812 год – год великих решений.

– Я изучала карты Европы, чтобы скрыться, с таким же старанием, с каким изучал их Наполеон, чтобы завоевать ее. Он остановил свой выбор на России – я... тоже!

Обманув своих аргусов, она тайно покинула тихое имение. Помимо неразлучного Шлегеля ее сопровождали дети и молодой пьемонтец Альбер де ла Рокка, которого она выходила от ран и теперь относилась к нему с материнским попечением. Ни дочь Альбертина (рожденная от Бенжамена Констан), ни ее сын (рожденный от графа Нарбонна) не догадывались, что молодой пьемонтец доводится им отчимом, тайно обрученный с их матерью.

Август Шлегель пугливо озирал патрули на дорогах:

– Бойтесь Вены, как и Парижа: австрийские Габсбурги давно покорились воле императора Франции...

Наполеон уже надвигался на Россию, как грозовая туча, и в русском посольстве Вены паковали вещи и документы, чтобы выезжать в Петербург... Посол предупредил Коринну:

– Не играйте с огнем! Меттерних вопреки народу вошел в военный альянс с Наполеоном и теперь способен оказать ему личную услугу, посадив вас в свои венские казематы.

– Паспорт... русский паспорт! – взмолилась женщина.

– Нахлестывайте лошадей. А курьер с паспортом нагонит вас в дороге. Только старайтесь ехать через Галицию...

В дорожных трактирах австрийской Галиции она читала афиши о денежной награде за ее поимку. Преследуемая шпионами, мадам де Сталь говорила Шлегелю:

– Я совсем не хочу, чтобы русские встретили меня как явление Парижской Богоматери, но пусть они заметят во мне хотя бы просто несчастную женщину, достойную их внимания...

Наконец 14 июля она въехала в русские пределы, и на границе России философ Шлегель воздал хвалу вышним силам:

– Великий день! Мы спасены...

Коринна согласилась, что день был великим:

– Именно четырнадцатого июля перед народом Франции пала Бастилия. Я благословляю этот великий день...

Еще в прошлом веке историк Трачевский писал, что французы, подолгу жившие в России, ничего в ней не видели, кроме блеска двора или сытости барских особняков. Мадам де Сталь первая обратилась лицом к русскому народу: «Она старается докопаться до его души, ищет разгадки великого сфинкса и в его истории, и в его современном быту, и путем сравнения с другими нациями...» Деревенские девчата, украшенные венками, увлекали перезрелую француженку в свои веселые хороводы.

Наполеон уже форсировал Неман – война началась!

В Киеве ее очаровал молодой губернатор Милорадович; в ответ на все ее страхи он смеялся:

– Ну что вы, мадам! Россия даже Мамая побила, а тут какой-то корсиканец лезет в окно, словно ночной воришка...

Прямой путь к Петербургу был забит войсками и движением артиллерии, до Москвы тащились окружным путем. Жермена сказала Шлегелю, что первые впечатления от русских не позволяют ей соглашаться с мнением о них европейцев:

– Этот народ нельзя назвать забитым и темным, а страну их варварской! Русские полны огня и живости. В их стремительных танцах я заметила много неподдельной страсти...

Местные помещики и проезжие офицеры спешили повидать мадам де Сталь, хорошо знакомые с ее сочинениями. В пути она встретила сенатора Рунича, ведавшего русскими почтами.

– Где сейчас находится Наполеон? – спросила она.

– Везде и нигде, – отвечал находчивый Рунич.

– Вы правы! – отозвалась де Сталь комплиментом. – Первое положение Наполеон уже доказал прежним разбоем, второе положение предстоит доказывать русским, чтобы этот выродок человечества оказался «нигде»...

В Москве женщину чествовал губернатор Ростопчин, который счел своим долгом кормить ее обедами и успокаивать ей нервы. Переводчиком в их беседах был славный историк Карамзин, еще в молодости переводивший на русский язык ее новеллу «Мелина». Ростопчин потом делился с друзьями:

– Она была так запугана Наполеоном, что ей казалось, будто и войну с нами он начал только для того, чтобы схватить писательницу. Шлегель был умен и очарователен. При мадам состоял вроде пажа кавалер де ла Рокка, которого она для придания ему пущей важности именовала «Лефортом», но этот молодец в дороге нахлебался кислых щей у наших мужиков, и эти щи довели его до полного изнурения...

Следует признать, что не все москвичи приняли мадам де Сталь восторженно. Одна из барынь говорила о ней почти то же самое, что писал о ней и сам император Наполеон:

– Не понимаю, чем она способна вызвать наши восторги? Сочинения ее безобразны и безнравственны. Свет погибал и рушился именно потому, что люди чувствовали и старались думать так же, как эта беспардонная болтушка...

Москва показалась Коринне большой деревней, переполненной садами и благоухающей оранжереями. Она удивилась даже не богатству дворян, но более тому, что дворяне давали волю крепостным, желавшим сражаться с Наполеоном в рядах народного ополчения. «В этой войне, – писала она, – господа были лишь истолкователями чувств простого народа». Характер славян казался совсем иным, нежели она представляла себе ранее. Недоумение сменилось восторгом, когда она поняла:

– Этому народу всегда можно верить! А что я знала о русских раньше? Два-три придворных анекдота из быта Екатерины Великой да короткие знакомства с русскими барами в Париже, где они наделали долгов и сидели в полиции. А теперь эта страна спасет не только меня, но и всю Европу от Наполеона.

Пушкин рассказывал в отрывке из «Рославлева»: «Она приехала летом, когда большая часть московских жителей разъехалась по деревням. Русское гостеприимство засуеилось, не зная, как угостить славную иностранку. Разумеется, давали ей обеды. Мужчины и женщины съезжались поглазеть на нее. Они видели в ней пятидесятилетнюю толстую бабу, одетую не по летам. Тон ее не нравился, речи показались слишком длинны, а рукава слишком коротки». Казалось, поэт был настроен по отношению к мадам де Сталь иронически. Но возможно, что Пушкин сознательно вложил в ее уста такие слова о русских:

– Народ, который сто лет тому назад отстоял свою бороду, в наше время сумеет отстоять и свою голову...

Да, в двенадцатом году Коринна была заодно с Россией, уже вступившей в безжалостную битву против жестокого узурпатора. Она приехала в Петербург, встревоженный опасностью нашествия, и на берегах Невы ей понравилось больше, нежели в патриархальной Москве. 5 августа, принятая императором Александром I, она выслушала от него откровенное признание:

– Я никогда не доверял Наполеону, а Россия не строила свою политику на союзах с ним, но все-таки я был им обманут... даже не как государь, а как человек, поверивший коварному соседу, что он не станет плевать в мой колодец.

Они беседовали об уроках маккиавелизма, которые столь хорошо освоил Наполеон, постоянно державший свое окружение в обстановке зависти, соперничества в поисках милостей и наград. Де Сталь сделала вывод: «Александр никогда не думал присоединиться к Наполеону ради порабощения Европы...» Это справедливо, ибо русская политика, иногда даже слишком податливая перед Наполеоном, стремилась лишь к единой цели – избежать войны с Францией, сохранить мир в Европе...

В русской столице мадам де Сталь пробыла недолго, но всюду ее встречали очень приветливо, а поэт Батюшков выразился о писательнице чересчур энергично:

– Дурна, как черт, зато умна, как ангел...

Русские и сами были мастерами поговорить; они говорили о чем угодно, но старались молчать о своих военных неудачах. Газеты тоже помалкивали об этом, а Павел Свиньин, известный писатель и дипломат, только что вернувшийся из Америки, раскрыл перед Коринной секрет такого молчания:

– Мы, русские, привыкли сегодня скрывать то, что завтра станет известно всему свету. В Петербурге из любой ерунды делают тайну, хотя ничто не становится секретом. Могу сообщить вам втайне и тоже под большим секретом, что Смоленск уже взят Наполеоном, а Москва в большой опасности.

Мадам де Сталь ужаснулась успехам Наполеона:

– И когда падет Москва, война закончится?

– Напротив, – отвечал Свиньин, – с падением Москвы война лишь начнется, а закончится она падением Парижа. Русский народ не станет лежать на печи, а время народного отчаяния послужило сигналом к пробуждению нации.

Изучая русское общество, мадам де Сталь сравнивала его с европейским и в каждом русском человеке находила то бойкость француза, то деловитость немца, то пылкость итальянца, а звучание русского языка, столь непохожего на все другие, просто ошеломляло ее: «В нем есть что-то металлическое, – записывала она для памяти, – русские произносят буквы совсем не так, как в западных наречьях; мне кажется, они в разговоре все время сильно ударяют в медные тарелки боевого оркестра...»

Беседуя со Шлегелем, она сказала ему:

– Но вряд ли ум служит для русских наслаждением.

– Тогда что же для них ум?

– Скорее они пользуются им как опасным оружием. Завтра будут проводы в армию престарелого генерала Кутузова, а этот человек заострил свой ум до нестерпимого блеска, словно шпагу в канун дуэли. Трудно ему будет управлять этой стихией.

– Под стихией вы подразумеваете... Наполеона?

– Нет, мой друг, народная война – вот стихия!

«Есть что-то истинно очаровательное в русских крестьянах, – торопливо записывала мадам де Сталь, – в этой многочисленной части народа, которая знает только землю под собой да небеса над ними. Мягкость этих людей, их гостеприимство, их природное изящество необыкновенны. Русские не знают опасностей. Для них нет ничего невозможного...»

Она участвовала в проходах Кутузова, растроганная величиим этого момента: «Я не могла дать себе отчета, кого я обнимала: победителя или мученика, но, во всяком случае, я видела в нем личность, понимающую все величие возложенного на него дела...» Сергей Глинка запомнил, как мадам де Сталь вдруг низко склонилась перед Кутузовым, возвестив ему:

– Приветствую почтенную главу, от которой теперь зависит вся судьба не только России, но даже Европы.

На это полководец без запинки отвечал ей:

– Мадам! Вы одарили меня венцом бессмертия...

На путях Наполеона к Москве уже разгоралось пламя священной войны, войны отечественной: русские мужики брались за топоры, а русские бабы деловито разбирали вилы. Еще не грянуло Бородино, еще не корчилась Москва в пламени пожаров, но мадам де Сталь страшилась побед Наполеона... Случись момент его окончательного торжества, и тогда ей вообще не останется места под солнцем Европы!

Отныне она уповала только на Россию. «Невозможно было достаточно надивиться той силе сопротивления и решимости на пожертвования, какие выказывал русский народ», – писала Коринна о русских воинах и партизанах.

– Русские ни на кого не похожи! – восклицала она перед Шлегелем. – Я ехала сюда, когда Наполеон перешагнул через Неман, словно через канаву, а в деревнях еще водили беспечальные хороводы и всюду слышались песни русских крестьян. Наверное, это в духе российского народа: не замечать опасности, экономя свою душевную энергию для рокового часа... Жаль, что меня скоро здесь не будет!

Она хотела перебраться в Стокгольм, куда ее настойчиво зазывал старый друг Бернадот, бывший французский маршал, будущий король Швеции, и где была родина первого мужа, фамилию которого она носила.

Швейцарка по отцу, француженка по рождению, шведка по мужу, Жермена де Сталь, урожденная Неккер, оставалась в душе пылкой патриоткой революционной Франции. Русские не всегда учитывали этот ее патриотизм, отчего и случались забавные казусы. Так, однажды в богатом доме Нарышкиных устроили пир в ее честь, и хозяин дома поднял бокал с вином:

– Чтобы сделать приятное нашей дорогой гостье, я советую выпить за победу над французской армией.

Коринна разрыдалась, и тогда хозяин поправился:

– Мы выпьем за поражение тирана, который в безумном ослеплении покорил Европу, а сейчас спешит в Москву, где ему уготована законная гибель.

На следующий день – новое огорчение, опять слезы. Сын вернулся из театра, сказав, что публика освистала «Федру».

– Боже праведный! Пусть они освистывают этого чесночного корсиканца, но зачем же освистывать великого Расина?..

20 августа «Санкт-Петербургские ведомости» оповестили общество о скором отъезде баронессы де Сталь, а 7 сентября она уже покинула русскую столицу.

В дороге – через перелески Финляндии – ее настиг грозный пушечный гул: это были отзвуки славного Бородина...

Бернадот, конечно, был рад видеть свою старую подругу. Он был славный рубаха-парень, женатый на бывшей трактирщице, грудь его со времен революции украшала бесподобная татуировка: СМЕРТЬ КОРОЛЯМ. Но теперь, готовя себя в короли, а жену в королевы, Бернадот иначе толковал свой патриотизм, выступая с войсками Швеции на стороне России – против Наполеона.

Из Стокгольма Коринна поддерживала дружескую переписку с женою фельдмаршала Кутузова, которому она предрекла вечную славу. Но в 1813 году, избавив родину от оккупантов, Михаила Илларионович скончался в немецком Бауцене, а вскоре Жермена де Сталь пережила страшное материнское горе: ее сын Альберт был убит на дуэли... Изгнанница отплыла в Англию, где и дождалась краха империи Наполеона.

Только теперь ей можно было вернуться в Париж.

Но это был уже не тот Париж, в котором она привыкла владеть умами и настроениями сограждан. Сразу выяснилось, что с Бурбонами, свергнутыми революцией, ей, писательнице, никак не ужиться, как не могла она раньше ужиться с Наполеоном, порожденным той же революцией, что низвергла Бурбонов!

Было над чем призадуматься старой романистке:

- Не пришло ли мне время писать мемуары?..

А заодно делать и прогнозы на будущее. Коринна политически прозорливо предсказала гибель монархии во Франции, будущее объединение итальянских и немецких княжеств в монолитные и прочные государства.

- Я предвижу великое будущее русского народа и громадную роль молодой Америки, - вещала она...

Жермена де Сталь умерла летом 1817 года, до конца своих дней мучимая желанием любить и мыслить, а способность к мышлению приносила ей такое же наслаждение, как и любовь.

Был уже 1825 год, когда Пушкин дал отповедь критикам, которые осмелились опорочить память этой удивительной женщины. Тогда же поэт словно предостерег своего друга князя П. А. Вяземского внушительными словами:

- Мадам де Сталь наша - не тронь ее!..

Вяземский и не думал задевать мадам де Сталь, сложив в честь ее такие вдохновенные строки:

Плутарховых времен достойная Коринна,

По сердцу женщина, а по душе мужчина...

Мадам де Сталь навсегда осталась именно «наша», целиком принадлежащая тому поколению русских людей, которые выстояли в огне Бородинской битвы, которые в декабре 1825 года выстраивались в четкое каре на Сенатской площади.

Что держала в руке Венера

В апреле 1820 года древний ветер с Эгейского моря принес к скалам Милоса французскую бригантину «Лашеврет». Сонные греки смотрели с лодок, как, убрав паруса, матросы травят на глубину якорные канаты. С берега тянуло запахом роз и корицы да кричал петух за горою – в соседней деревне.

Два молодых офицера, лейтенант Матерер и поручик Дюмон-Дарвиль, сошли на нищую античную землю. Для начала они завернули в гаванскую таверну; трактирщик плеснул морякам в бокалы черного, как деготь, местного вина.

– Французы, – спросил, – плывут, наверное, далеко?

– Груз для посольства, – отвечал Матерер, швыряя под стол кожуру апельсина. – Еще три ночи, и будем в Константинополе...

Надсадно гудел церковный колокол. Неуютная земля покрывала горные склоны. Да зеленели вдали оливковые рощицы.

Нищета... тишь... убогость... кричал петух.

– А что новенького? – спросил Дюмон-Дарвиль у хозяина и облизнул губы, ставшие клейкими от вина.

– Год выпал спокойный, сударь. Только вот зимой треснула земля за горою. Как раз на пашне старого Кастро Буттониса, который чуть не упал с плугом в трещину. И что бы вы думали? Наш Буттонис упал прямо в объятия прекрасной Венеры...

Моряки заказали еще вина, попросили поджарить рыбы.

– Ну-ка, хозяин, расскажите об этом подробнее...

Кастро Буттонис глядел из-под руки, как к его пашне издалека шагают два офицера, ветер с моря треплет и комкает их нежные шарфы. Но это были не турки, которых так боялся греческий крестьянин, и он – успокоился.

– Мы пришли посмотреть, – сказал лейтенант Матерер, – где тут треснула у тебя земля зимою?

– О, господа французы, – разволновался крестьянин, – это такое несчастье для моей скромной пашни, эта трещина на ней. И все виноват мой племянник. Он еще молод, силы в нем много, и так сдуру налег на соху...

– Нам некогда, старик, – пресек его Дюмон-Дарвиль.

Буттонис подвел их к впадине, открывающей доступ в подземный склеп, и офицеры ловко спрыгнули вниз, как в трюм корабля. А там, под землей, стоял беломраморный цоколь, на котором возвышались вдоль бедер трепетные складки одежд.

Но только до пояса – бюста не было.

– А где же главное? – крикнул из-под земли Матерер.

– Пойдемте со мной, добрые французы, – предложил старик.

Буттонис провел их в свою хижину. Нет, он никого не хочет обманывать. Ему с сыном и племянником удалось перетащить к себе только верхнюю часть статуи. Знали бы господа-офицеры, как это было тяжело.

– Мы несли ее через пашню бережно. И часто отдыхали...

Средь нищенского убожества, обнаженная до пояса, стояла чудная женщина с лицом дивным, и офицеры быстро переглянулись – взглядами, в которых читались миллионы франков. Но крестьянин умел читать только свою пашню, а в людские глаза смотрел открыто и чисто.

– Продам... купите, – предложил он наивно.

Матерер, стараясь не выдать волнения, отсыпал из кошелька в сморщенную ладонь землепашца:

– На обратном пути в Марсель мы заберем богиню у тебя.

Буттонис перебрал на своей ладони монеты:

– Но священник говорит, что Венера за морями стоит дороже всего нашего Милоса с его виноградниками.

– Это лишь задаток! – не вытерпел Дюмон-Дарвиль. – Мы обещаем вернуться и привезем денег сколько ни спросишь...

С вечера задул сильный ветер, но Матерер не брал паруса в спасительные рифы. Срезая фальшбортом клочья пены, «Лашеврет» влетел в гавань Константинополя, и два офицера появились на пороге посольства. Маркиз де Ривьер, страстный поклонник всего античного, едва успел дослушать их о небывалой находке – сразу дернул сонетку звонка, вызывая секретаря.

– Марсюллес, – возвестил он ему торжественно, – через полчаса вы будете уже в море. Вот письмо к капитану посольской «Эстафеты», который да будет повиноваться вам до тех пор, пока Венера с острова Милос не явится пред нами. В деньгах и пулях советую не скупиться... Ветра вам и удачи!

«Лашеврет» под командой Матерера больше никогда не вернулся в родной Марсель, пропав безвестно. А военная шхуна французского посольства «Эстафета» на всех парусах рванулась в сторону Милоса. Среди ночи остров замерцал точкой далекого огня. Никто из команды не спал. Марсюллес уже зарядил пистолет пулей, а кошелек хорошей дозой чистого золота.

Античный мир, прекрасно-строгий, вызывая восторги людей, понемногу открывал свои тайны, и на шхуне все – от юнги до дипломата – понимали, что эта ночь окупится потом благодарностью потомства.

Марсюллес, волнуясь, хлебнул коньяку из фляжки капитана.

– Пойдем напрямик, – сказал он, – чтобы не тащиться пешком от деревни до гавани... Видите, светит в хижине огонь?

– Ясно вижу! – ответил капитан, уже не глядя на картушку компаса; берег, блестя под луной острыми камнями, резко выступал в белой окантовке прибоя...

– Я вижу людей! – заголосил вдруг вахтенный с бака. – Они что-то тащат... белое-белое. И – корабль! Как божий день, я вижу прямо по носу турецкий корабль... с пушками!

Французы опоздали. В бухте уже стояла громадная военная фелюга. А по берегу, осиянные лунным светом, под тяжестью мрамора брели турецкие солдаты. И между ними, повисшая на веревках, качалась Венера Милосская.

– Франция не простит нам, – задохнулся в гневе Марсюллес.

– Но что же делать? – обомлел капитан.

– Десанту по вельботам! – велел секретарь посольства. – Боевые патроны – в ружья, на весла – по два человека... Дорогой капитан, на всякий случай – прощайте!

Матросы гребли с такой яростью, что в дугу сгибались ясеневые весла. Турки подняли гвалт. Венеру сбросили с веревок. И, чтобы опередить французов, покатали ее вниз по откосу, безжалостно уродуя тело богини.

– Бочка вина! – крикнул матросам Марсюллес. – Только гребите, гребите, гребите... именем Франции!

Он выстрелил в темноту. Затрещали в ответ пистолы.

Склонив штыки, десант французов бросился вперед, но отступил перед свирепым блеском обнаженных ятаганов.

Венера прыгала по рытвинам – прямо в низину гавани.

– Что вы стоите? – закричал Марсюллес. – Две бочки вина. Честь и слава Франции – вперед!

Матросы в кровавой схватке обрели для Франции верхнюю часть Венеры – самую вожаделенную для глаз. Богиня лежала на спине, и белые холмы ее груди безмятежно отражали сияние недоступных звезд. А вокруг нее гремели выстрелы...

- Три бочки вина! - призывал Марсюллес на подвиг.

Но турки уже вкатили цоколь на свой баркас и, открыв прицельный огонь, быстро отгребли в сторону фелюги. А французы остались стоять на черных прибрежных камнях, среди которых блестели осколки паросского мрамора.

- Собрать все осколки, - распорядился Марсюллес. - Каждую пылинку благородства... Вечность мира - в этих обломках!

Бюст богини погрузили на корабль, и «Эстафета» стала нагонять турецкий парусник. Из-за борта высунулась пушка.

- Верните нам ее голову, - озлобленно кричали турки.

- Лучше отдайте нам ее зад, - отвечали французы.

Канонир прижал фитиль к запалу, и первое ядро с тихим шелестом нагнало турецкую фелюгу. Марсюллес схватился за виски:

- Вы с ума сошли! Если мы сейчас их потопим, мир уже никогда не увидит красоты в целостности... О боже, нас проклянут в веках, и будут правы...

Турки с воинственными песнями натягивали драные паруса. Марсюллес сбежал по трапу в кают-компанию, где на диване покоилась богиня.

- Руки? - закричал в отчаянии. - Кто видел ее руки?

Нет, никто из десанта не заметил на берегу рук Венеры...

Начались дипломатические осложнения (из-за рук).

- Но турки, - сказал маркиз де Ривьер, раздосадованный, - также отрицают наличие рук... Куда же делись руки?

Султан турецкий никогда не противился влиянию французского золота, а потому нижняя часть богини была им предоставлена в распоряжение Франции; из двух

половин, разрозненных враждой и завистью, Милосская Венера предстала в целости (но без рук). Мраморная красавица вскоре отплыла в Париж – маркиз де Ривьер приносил ее в дар королю Людовику XVIII, который был напуган и растерялся от такого подарка.

– Спрячьте, спрячьте Венеру поскорее! – сказал король. – Ах, этот негодный маркиз... Пора бы уж ему знать, что королям не дарят ворованные вещи!

Людовик тщательно скрывал от мира похищение статуи с Милоса, но тайна проникла в печать, и королю ничего не оставалось делать, как выставить Венеру в Лувре – для всеобщего обозрения.

Так-то вот в 1821 году Венера Милосская явилась перед взорами людей – во всей своей красоте.

Археологи и ценители изящного сразу же стали ломать головы в мучительных загадках. Кто автор? Какая же эпоха? Вы только посмотрите на этот сильный нос, на трапиковку уголка губ; какой крохотный и милый подбородок. А – шея, шея, шея...

Пракситель? Фидий? Скопас?

Ведь это же – доподлинно образец эллинистической красоты!

Но сразу же встал неразрешимый вопрос:

– Что держала в руке Венера?

И этот спор затянулся на половину столетия:

– Венера держала в руках щит, поставленный прямо перед собой, – говорили одни историки.

– Глупости! – возражали им. – Одною рукой она стыдливо прикрывала свое лоно, а вторая рука несла воинственное копье.

– Вы ничего не поняли, профан, – раздался третий голос, не менее авторитетный. – Венера держала перед собой большое зеркало, в которое и разглядывала свою красоту.

– Ах, как вы не правы, дорогой маэстро! Венера с Милоса уже вышла из той эпохи, когда атрибутику ее составлял круглый предмет. Нет, она делает отталкивающий жест стыдливости!

– Мой амфитрион, вы сами не понимаете разгадку рук. Скорее, что сам создатель, в порыве недовольства, пожелал уничтожить свое создание. Он отбил ей руки, а потом – пожалел.

«Да, в самом деле, что же, наконец, держала в руках Венера, найденная на острове Милос греческим крестьянином по имени Кастро Буттонис?..»

Лувр манил людей. Все восхищались. Но подвергнуть богиню реставрации нечего было и думать, ибо не выяснен главный вопрос: руки! А безрукая Венера стояла под взглядами тысяч людей, вся в обворожительной красоте, и никто не мог разгадать ее тайны...

Миновало полвека. Жюль Ферри, французский консул в Греции, приплыл в 1872 году на остров Милос. Так же тянуло с берега ароматом роз и корицы, так же плеснул ему трактирщик густого и черного вина.

– До деревни здесь далеко ли? – спросил Ферри, вращая стакан в липких пальцах.

– Да нет, сударь. Сразу за горой, вы там сами увидите...

Ферри постучался в ветхую лачугу, которая совсем развалилась за эти прошедшие 52 года. Дверь тихо скрипнула.

Перед консулом стоял сын Кастро Буттониса, а на лавке лежал его племянник – дряхлый, как и его брат.

Нищета сразила Ферри запахом луковой похлебки и подгорелых в золе лепешек. Нет, здесь ничто не изменилось...

- А вы хорошо помните Венеру? – спросил Ферри у крестьян.

Четыре землянистые руки протянулись к нему:

- Сударь, мы тогда были еще очень молоды, и мы бережно несли ее от самой пашни... О, сейчас нам и себя не пронести так осторожно!

Ферри прицелился взглядом на пустой очаг бедняков.

- Ну ладно. А кто из вас может вспомнить: что держала в руке Венера?

- Мы оба хорошо помним, – закивали в ответ крестьяне.

- Так что же... что?

- В руке у нашей красавицы было яблочко.

Ферри был поражен простотой разгадки. Даже не поверил:

- Неужели яблоко?

- Да, сударь, именно яблочко.

- А что держала ее вторая рука? Или вы забыли?

Старики переглянулись.

- Сударь, – ответил один из Буттонисов, – мы не можем ручаться за других Венер, но наша, с острова Милос, была целомудренной женщиной. И будьте покойны: ее вторая ручка не болталась без дела.

Жюль Ферри, вполне довольный, приподнял цилиндр:

- Желаю здоровья...

Он вышел из хижины. Вобрал в себя глоток свежего воздуха.

Подъем в гору казался легок, как в детстве.

Итак, кажется, все ясно...

– Хороший господин! – раздался за его спиной дребезжащий голос; это Буттонис-сын, опираясь на палку, ковылял за ним следом. – Остановитесь, пожалуйста...

Ферри подождал, когда он приблизится.

– Не обессудьте на просьбе, – сказал старик, потупив глаза в землю. – Но священник говорит, что наша Венера стала очень богатой дамой. И живет теперь во дворце короля, какой нам и не снился. Это мы открыли ее красоту, ковыряясь в грязной земле, и с тех пор мы бедны, как и тогда... еще в юности. А ведь вот этими-то руками...

Ферри поспешно сунул старику монету.

– Хватит? – спросил насмешливо.

И, более не оглядываясь, дипломат торопливо зашагал в сторону близкого моря. Как и полвека назад, звонко кричал петух за горою...

С тех пор прошло немало лет. И до сего времени копают археологи землю острова Милос – в чаянии найти, среди прочих сокровищ, и утерянные руки Венеры.

...Не так давно в нашей печати промелькнуло сообщение, что один бразильский миллионер за 35 000 долларов приобрел руки Венеры Милосской... Только руки! При продаже с него взяли расписку, что три года он должен молчать о своей покупке. И три года счастливый обладатель рук Венеры хранил клятву. Когда же тайна рук обнаружилась, ученые-археологи заявили, что эти руки – чьи угодно, только не Венеры Милосской. Проще говоря, миллионера надули...

А мир уже настолько свыкся с безрукой Венерой с Милоса, что я иногда думаю:

– А может, и не надо ей рук?

Наверное, не все читатели останутся мною довольны, ибо я не рассказал о Венере Таврической, которая с давних пор служит украшением нашего Эрмитажа. Но повторять рассказ об ее почти криминальном появлении на берегах Невы у меня нет желания, так как об этом уже не раз писалось.

Да, писали много. Вернее, даже не писали, а переписывали то, что было известно ранее, и все историки, словно сговорившись, дружно повторяли одну и ту же версию, вводя читателей в заблуждение. Долгое время считалось, что Петр I попросту обменял статую Венеры на мощи св. Бригитты, которые он якобы заполучил как трофей при взятии Ревеля. Между тем, как недавно выяснилось, Петр I никак не мог совершить столь выгодного обмена по той причине, что мощи св. Бригитты покоились в шведской Упсале, а Венера Таврическая досталась России потому, что Ватикан желал сделать приятное российскому императору, в величии которого Европа уже не сомневалась.

Несведущий читатель невольно задумается: если Венеру Милосскую нашли на острове Милос, то Венеру Таврическую, надо полагать, отыскивали в Тавриде, иначе говоря – в Крыму?

Увы, она была обнаружена в окрестностях Рима, где пролежала в земле тысячи лет. «Венус Пречистую» везли в особой коляске на пружинах, которые избавили ее хрупкое тело от рискованных толчков на ухабах, и лишь весной 1721 года она явилась в Петербурге, где ее с нетерпением ожидал император. Она была первой античной статуей, которую могли видеть русские, и я бы покривил душой, если бы сказал, что ее встретили с небывалым восторгом...

Напротив! Был такой хороший художник Василий Кучумов, который на картине «Венус Пречистая» запечатлел момент явления статуи перед царем и его придворными. Сам-то Петр I смотрит на нее в упор, очень решительно, но «Екатерина затаила усмешку, многие отвернулись, а дамы прикрылись веерами, стыдясь глядеть на языческое откровение». Вот купаться в Москве-реке при всем честном народе в чем мама родила – это им не было стыдно, но видеть наготу женщины, воплощенную в мраморе, им, видите ли, стало зазорно!

Понимая, что не все одобряют появление Венеры на дорожках Летнего сада столицы, император указал поместить ее в особом павильоне, для охраны

поставил часовых с ружьями.

– Чего разинулся? – покрикивали они прохожим. – Ступай дале, не твою ума дело... царское!

Часовые понадобились не зря. Люди старого закала нещадно бранили царя-антихриста, который, мол, тратит деньги на «голых девок, идолиц поганных»; проходя мимо павильона, старoverы отплевывались, крестясь, а иные даже швыряли в Венеру огрызки яблок и всякую нечисть, видя в языческой статуе нечто сатанинское, почти дьявольское наваждение – к соблазнам...

Шло время, Петра I не стало, отплясала свое веселая Елизавета, о Венере вспомнила Екатерина II, которая и подарила ее князю Потемкину для убранства его Таврического дворца (почему и сама Венера стала именоваться «Таврической»). Но после смерти Потемкина и Екатерины император Павел I подверг Таврический дворец нещадному погрому, желая обратить его в конюшни гвардии, и наша несчастная Венера долгое время находилась в забвении на складах гофинтендантской (придворной) конторы, всеми забытая, окруженная вещами, далекими от искусства.

О ней вспомнили лишь в 1827 году и отдали на реставрацию знаменитому скульптору Демут-Малиновскому. А в середине прошлого столетия Венеру торжественно внесли в здание Эрмитажа, где она красуется и поныне, сохранив свое прежнее название – Таврическая...

Свой короткий рассказ о двух прекрасных «сестрах», Милосской и Таврической, я закончу отчасти неожиданно для читателя.

В пору душевного смятения и трагического надлома в жизни писатель Глеб Успенский, будучи в Париже, навестил Лувр и... надолго замер перед Венерой Милосской.

Встреча с нею стала для него целительной. «Это действительно такое лекарство, особенно ее лицо, ото всего гадкого, что есть на душе, – что я даже не знаю, какое есть еще другое?» – спрашивал он сам себя.

И произошло чудо: разом отпали душевные сомнения, жизнь заново осиялась волшебным светом, после чего Глеб Успенский выпрямился от былых невзгод,

уверенный в себе и своих силах – как еще никогда не бывал он уверен ранее.

Чудо, спросите вы меня? Да, чудо, отвечу я вам. Потому-то он свою встречу с Венерой и запечатлел в очерке, который так и назвал: «ВЫПРЯМИЛА».

...Не будем же меркантильны, блуждая по залам музеев, стараясь по-обывательски угадать, сколько копеек или сколько миллионов рублей стоит тот или иной обломок человеческой древности.

Подлинное искусство оценивается не деньгами и, тем более, не стоимостью входного билета в музей.

Поверьте, оно способно изменить и улучшить наш бестолковый мир, в котором мы, грешные, еще живы; именно шедевры искусства способны «выпрямить» и всех нас, населяющих этот мир, чтобы мы стали чище, возвышеннее и благороднее...

Всего доброго, мой милейший читатель.

До встречи в Эрмитаже, а может, даже в Лувре.

Уверен, что многим из нас необходимо «выпрямиться».

Наша милая, милая Уленька

Выборгская сторона в Петербурге – не для богатых.

Барон был еще молод и прозябал в бедности.

Из полуподвального жилья он видел ноги прохожих: в туфельках, в лаптях, босые или в сапогах, громыхающих шпорами. Беспечально вздохнув и радуясь полноте счастья, он разрезал селедку на две части: с головы съест сейчас, а с хвостом оставит на ужин... Боже, до чего же прекрасна жизнь!

На подоконнике подсыхали игрушечные лошадки, вылепленные из глины, которые барон мастерил для продажи. Прохожие иногда заглядывались на них с улицы. Уж больно хороши! Бегут себе лошадки или встают на дыбы, мнимый ветер развеивает у них хвосты из льняных оческов, а вместо глаз – бусинки бисера. Прохожий, вдоволь налюбовавшись, порою наклонялся пониже, заглядывал в глубину подвальных комнатенок, а там он видел молодого человека, который, закатав рукава рубахи, чертил, рисовал или вырезал из бумаги опять-таки лошадок.

Иные, недоумевая, спрашивали будочника:

– Что за мастеровой живет в угловом доме?

– А шут его знает. Говорят, будто из баронов, был офицером по артиллерии. Тока не верится... Уж больно прост. Даже со мной здоровается. Чудит! А сам куску хлеба рад.

– На лошадях помешался, что ли?

– Оно так. Бывало, затащит к себе в подвал кобылу, сам между ног ее приладится и рисует всяко. Как это не боится? Ведь зашибут копытом. Никто и знать не будет...

Этим бедным бароном был Петр Карлович Клодт, а точнее – барон Клодт фон Юргенбург, потомок древних рыцарей из Вестфалии, которые позже владели в Курляндии замком «Юргенбург», полученным ими в дар от герцога Готкарда Кетлера, предшественника известной нам всем династии герцогов Биронов.

Отец скульптора, Карл Федорович, немало повидал на своем веку, немало сражался, портрет его попал в Галерею героев 1812 года, где красуется и поныне. Дослужившись до генеральских чинов, барон устоял в кровавых битвах эпохи, зато рухнул как подкошенный, не вынеся оскорблений начальства...

Скульптор до старости помнил и чтит батюшку:

– Он, сам бедняк, игрушками нас не баловал. Возьмет колоду карт, нарежет из них лошадок, вот мы в них и играли. Клодты с детства безделья и скуки не ведали. Строгали, пилили, клеили, рисовали, чертили, радовались, что так интересно жить...

Мать его, Елизавета Яковлевна Фрейгольд, приходилась теткой Николеньке Гречу, педагогу и писателю, который – не в пример кузенам – умел быть на людях, успешно делал карьеру выгодными знакомствами. По вечерам Петр Карлович иногда навещал Греча, у которого было тепло и шумно от обилия гостей, званых и незваных, писателей, артистов и чиновников.

Кусок селедки, отрезанный от хвоста, оставался не съеден, ибо в доме Греча ужинали даже с вином. На правах родственника Николенька иной раз снисходительно похлопывал Клодта:

– Ну, каково живешь, Петрушка?

– Хорошо... просто замечательно!

– Заплатки-то на локтях сам пришивал?

– Сам. Не в заплатках счастье, когда каждый день жизни таит в себе столько трудов и столько радостей...

Был 1830 год, когда Клодта избрали «вольнослушателем» при Академии художеств; по рисункам барона судили, что из него может со временем получиться недурной гравер. Клодт попал в среду художников, ему близкую, хотя сами-то художники, разделенные по рангам, словно офицеры на вахтпараде, отводили барону место в последних шеренгах своего построения по чинам.

Увы, в искусстве, как и в жизни, существовала своего рода иерархия – кому быть выше, кому ниже, кому где стоять, кому кланяться нижайше, а кому хватит и едва приметного кивка головой. Первым среди мастеров искусства был в ту пору знаменитый скульптор Иван Петрович Мартос, убеленный благородною сединой, маститый ректор Императорской Академии художеств.

Иной час, заметив барона, Мартос небрежно спрашивал:

– Все лошадками балуетесь?

– Люблю лошадей, Иван Петрович... стараюсь.

– Пустое дело! С лошадой добра не наживете. Где бы вам путным чем-либо заняться, а вы игрушками тешитесь.

Иногда же барон чистил свой сюртучишко, испачканный глиной и обляпанный воском, стыдливо приглаживал на карманах нищенскую бахрому ветхой одежды, повязывал шею галстуком и шел в академическую церковь. Петра Карловича не занимала обедня, не тешили голоса певчих, он мечтал увидеть здесь свое потаенное, но сердечное сокровище – Катеньку Мартос!

Что «вольнослушатель»? Так, пустое место. Ему бы стоять подальше, а впереди живописно группировались признанные мастера искусств Российской империи, академики и профессора со своими домочадцами. Здесь же, на самом переднем плане, выделялся и сам Мартос, создатель величественных монументов, ярый ненавистник обнаженной натуры, которую он с гениальным совершенством драпировал в складки классических одежд. Подле него возвышалась его супружица Авдотья Афанасьевна, величавая владычица многочисленной патриархальной семьи, оберегая от нескромных взоров Катеньку, еще девочку-подростка, ставшую предметом лирических вождений барона.

Порою, осеняя себя широким крестом, почтенная матрона шептала дочери, краснеющей от стыда:

– Не смей глазеть на молодых живописцев, у них только вошь в кармане да блоха на аркане. А тебе, моя сладенькая, по рангу папеньки супруг необходим солидный, богобоязненный, чтобы потом не шаромыжничать по чердакам да подвалам...

В кругу семьи Мартоса, среди его богато разряженных дочерей, бывала и Уленька Спиридонова, круглая сирота, пригретая в доме Мартосов, чтобы в нищете не пропала. Вот ей разрешалось делать в церкви что вздумается, и эта некрасивая широколицая девочка озорно подмигивала дьячкам, гримасничала и корчила рожицы, сама же тишком прыскала в кулачок от смеха. Но барон Клодт,

поглощенный любовью, видел одну лишь Катеньку.

А скоро случилось страшное – непоправимое!

Мария Каменская (дочь художника графа Ф. П. Толстого) в мемуарах писала: «Старик Мартос был вполне убежден в том, что обожаемая им дочь будет гораздо счастливее в замужестве, если он сам, столь опытный в жизни, выберет ей мужа». В один из дней он позвал Катеньку в залу для гостей, где уже стоял пятидесятилетний некрасивый мужчина, опиравшийся на трость.

– Моя дорогая телятинка! – так заявил Мартос. – Почтенный архитектор Василий Алексеевич Глинка делает честь просить за тобой – объявить прямо: согласна ли ты или нет?

Катенька, вся покраснев до ушей, упорно молчала.

– Молчание – знак согласия! Человек, подать шампанского! – громко крикнул радостный отец...

Старик залпом опорожнил свой бокал, опрокинув его на свой парик, и начал целовать дочь и будущего зятя... Одна только Катенька продолжала молчать. «Таким образом, – писала М. Ф. Каменская, – она, не промолвив ни “да”, ни “нет”, едва дожив до пятнадцати лет, сделалась невестой пятидесятилетнего и мало привлекательного Василия Алексеевича Глинки». Цитата закончена. Но к ней можно добавить: архитектор уже скопил на старость сто тысяч рублей, и, наверное, эта огромная сумма денег решила «счастье» девочки, покорно шагнувшей под венец.

Петр Карлович был в отчаянии, но что делать, если никогда даже не мечтал иметь сто тысяч рублей! Он сказал Гречу:

– Не имея за душой лишней копейки, я ведь всегда считал себя богачом: моя жизнь богата интересами, а свой неустанный труд я почитаю за величайшее счастье... Как быть?

– Ешь чеснок, – отвечал Греч, – мажься дегтем.

– Зачем? – удивился Клодт.

– Надвигается холера...

От холеры скончался в 1831 году и архитектор Глинка; юная вдова вернулась к родителям, выложив перед ними сто тысяч рублей. Авдотья Афанасьевна сложила деньги в сундук.

– И то дело, красавушка ты моя, – сказала мать дочери, – с такими-то деньгами во вдовстве не засидишься... Гляди, и генерал не откажется любить тебя да жаловать.

Но тут появился в дом Мартосов барон Клодт, который, не помышляя о тысячах рублей, сгорал на костре пламенной любви, и он сразу же рухнул перед матерью на колени:

– Вы одна, божественная Авдотья Афанасьевна, можете устроить мое счастье! Не откажите в руке вашей Катеньки, уговорите и своего супруга, почтеннейшего Ивана Петровича.

На это ему было четко сказано:

– В уме ли вы, барон? Как такое могло прийти в голову? Да разве Катенька ровня вам? Или решили, что одной селедки на двоих хватит? Моя доченька изнежена, как цветочек, росла в холе и неге, дочь академика, а вы... Много ли прибыли с лошадок, которых вы по ночам лепите? Нет, голубчик, не там жену себе ищите... Ивана Петровича я даже и волновать вашей просьбой не осмелюсь: он меня и вас турнет сразу!

Монолог почтенной дамы был слишком напыщен и долог, но я сокращаю его до предела, ибо за его словами стоял сундук, наполненный деньгами. Суть же монолога была такова:

– Вот если бы, скажем, моя дочь была мастерица на все руки да притом еще нищая, как Уленька Спиридонова, пригретая нами из милости, так я и мужа-то спрашивать не стала бы: берите хоть сейчас в жены... два сапога пара!

Тут в душе Петра Карловича разыгралась гордость вестфальских рыцарей, владевших когда-то замком «Юргенсбург», и он поднялся с колен, отряхнув с них пыль. («Вся любовь к вдовушке Глинки мигом, словно чулок с ноги, снялась».)

– Вот и отлично, добрейшая Авдотья Афанасьевна, – рассудил барон. – Совершенно согласен, что два сапога – хорошая пара! Если вы считаете свою дочь принцессой, так я согласен жениться на ее домашней прислуге, какова и есть Уленька.

– Никак изволите шутить со мною, барон?

Петр Карлович разложил все по полочкам:

– Уленька хлопочет с утра до ночи, я тоже трудолюбив. Она бедная, и я нищий. Вот и станет женою мне, что гораздо лучше, нежели бы я затащил в свой подвал балованную дочку ректора академии. Пусть уж будет Уленька голодная и плохо одетая, но вы, отдавая ее за меня, не боитесь этого...

Все решилось в два счета.

– Уля! – позвала Авдотья Афанасьевна сироту-при-живалку. – Тут барон Петр Карлович Клодт руки и сердца твоих просит.

Уленька Спиридонова зашлась от веселого хохота:

– Вот уж не думала не гадала, что стану я баронессой...

Петр Карлович взял хохотушку за руку:

– Верю, что ты принесешь мне большое счастье...

Мартос отнесся к свадьбе серьезно. В церковь сам приехал с семейством, пригласил и знатных гостей. Невеста с трепетом ожидала явления жениха. Но барон не показывался, и Авдотья Афанасьевна изложила свои серьезные подозрения:

- Сбежал! Кому ж на нищей охота жениться?

В дверях храма возникла суета, священник спросил:

- Что там за шум? Уймись.

Церковный сторож отвечал во всеуслышание:

- Да тут какой-то оборванец в Божий храм ломится. Сказывает, что его невеста заждалась. По шее давить али как еще?

- Пусти, - возвестил Мартос торжественно.

- Да он вить женихом себя прозывает.

- Это и есть жених, а вот и невеста его...

Утром, когда молодые проснулись, Уленька спросила:

- Чай будем пить или кофий со сладким сахаром?

- Я бы и рад, да где взять? - отвечал барон.

Уленька, румяная после сна, не огорчилась:

- Нет так нет. Водички из колодца поьем, можно и без кофию жить, лишь бы только любил ты меня, Петруша...

Она стала перебирать белье, подаренное ей Мартосами на свадьбу, и между простынями нашла серебряные рубли (таков был старый обычай: класть деньги в белье новобрачной).

- Со мною не пропадешь, - повеселела Уленька. - Не было ни грошика, так сразу рубли завелись...

Только она это сказала, как в двери забарабанили, да столь внушительно, что Петр Карлович даже испугался:

- Кто бы это? Уж не дворник ли? Чего ему надобно?

Вошел дворцовый курьер, дядька здоровущий, весь разряженный, как петух, и с удивлением обозрел скудную обстановку жилья новобрачных, где столы были завалены комками сырой глины, обрезками жести, рисунками и муляжами лошадиных голов.

- Наверное, я не туды попал, - оторопел курьер.

- А кого ищете, сударь?

- Барона Петра Карловича Клодта фон Юргенсбурга... Сыскать его велел император, дабы срочно доставить в манеж конной гвардии, где его императорское величество желает показать барону лошадей, что привезены в Петербург из Англии...

Николай I похвастал перед анималистом статью английских жеребцов, стоивших ему немалых денег, потом сказал:

- Барон! Давно наслышан об успехах твоих в лепке лошадиных фигур. Это кстати. Мой архитектор Стасов перестроил Нарвские триумфальные ворота, но теперь для колесницы Победы на аттике требуется изваять шестерку лошадей. Думаю, никто лучше тебя с такой работой не справится. Считаю этот заказ моим личным заказом. Сделаешь хорошо - награжу по-царски...

Обратно домой Клодт вернулся обвешанный с ног до головы кулками со сладостями, расцеловал свою Уленьку:

- А ведь ты и впрямь принесла мне счастье. Сейчас будем пить кофе с сахаром, а затем поедем по магазинам.

- Зачем?

– Ты купишь самое красивое, самое нарядное платье. Будешь одета лучше всех женщин на свете, как сказочная принцесса...

...Госпожа Мартос готова была грызть себе локти:

– Ай, дура старая! Откуда ж мне знать, что баронишка этот наверх попрет? Такие подарки жене подносит, такие платья ей покупает... Промахнулась я, глупая! Недоглядела. Ведь даже мой Иван Петрович, уж на что ректор и академик, и то не раз говорил: «Кому нужен барон с его лошадами да зверушками из глины?» А он-то теперь из глины золото месит... Ох, горазд промахнулась я, дура старая. Вот бы такое счастье Катеньке, которая на сундуке-то сидит и слезьми обливается...

Екатерина Ивановна Глинка, дочь Мартосов, утешилась в браке с врачом Шнегасом и умерла молодой в 1836 году, упрекая мать за то, что дважды сделала ее несчастливой:

– Нет того, чтобы меня спросить! Я бы пошла за барона. А теперь все досталось Ульке, которая из-под меня горшки выносила. Видела я вчера, как ехала она по Невскому – уже брюхатая! Боже, какая ж она счастливая... Люди сказывают, что теперь она каждый день на себя новое платье примеривает!

Шестерка вздыбленных лошадей, влекущих колесницу Победы над пропастью, стала для Клодта его первым и вдохновенным порывом к всемирной известности и широкой славе.

Квадриги черные вздымались на дыбы

На триумфальных поворотах...

Так знать лошадь, как изучил ее Клодт, не знал никто, он был способен точно и совершенно изобразить ее прекрасное тело в любом ракурсе, самом неожиданном, даже с точки зрения человека, попавшего под копыта в момент кавалерийской атаки.

В 1835 году Уленька (Ульяна, или Иулиания, Ивановна) Клодт принесла мужу первенца Мишу. Уже на склоне лет, сам признанный художник, он рассказывал

молодым, что его мать была неунывающей оптимисткой, радостной в жизни, она любила всех, и все любили ее, веселую проказницу. «Она была не так красива, сколько миловидна и грациозна, а главное – в ней бил неиссякаемый источник жизнерадостности и веселья».

Когда-то Петр Соколов, женатый на сестре Карла Брюллова, нарисовал Уленьку карандашом – еще девочкой: широкоскулое и курносое личико, чуть подцвеченное сангиной, а сколько в нем прелести, сколько наивной и чистой простоты! Но вот миновали годы, и в доме баронов Клодтов стал появляться сам «великий Карл», волшебник русской кисти... Усталый, измученный, человек неровный, обидчивый, капризный, часто оскорбляемый и оскорблявший других, он бросал шляпу в угол, раздраженный:

– Нет, так жить больше нельзя! Один только дом в Петербурге, где я отдыхаю среди блаженства и мира, это ваш дом, где царит прекрасная Уленька... ах, как я завидую тебе, Петруша!

Только что Брюллов пережил постыдный скандал с неудачной женитьбой, а в доме Клодтов искал спасения от сплетен, окружавших его. Ему не хотелось работать, но Уленьке он велел:

– Сиди вот так, как сидишь. Буду рисовать.

– Господи, да я совсем не готова...

– И не надо! Пусть другие дуры готовятся, а ты прекрасна всегда... Мне хорошо и тепло с тобою, среди твоих друзей, я люблю тебя, люблю твоего Петю, и не только ваших гостей, но даже зверей, что живут в вашем доме на правах лучших людей. Сиди. Не двигайся. Перестань хохотать. Я начинаю...

Уже не девочка, а женщина и мать, Уленька предстала на портрете Брюллова, заключенная в овал, глядя на нас, потомков, простым, но милым лицом. Кажется, вот-вот дрогнут ее губы и мы снова услышим ее смех, отзвучавший в былом веке!

– Как я завидую твоему мужу, – говорил ей Брюллов...

А муж работал, и в семье Клодтов даже не удивлялись, если отец, как хороший шорник, садился чинить старую лошадиную сбрую, вдруг наделял детвору игрушками собственной выделки. Великий мастер, уже сам заслуженный академик, барон умел делать все, и все в его руках ладилось.

- А как же иначе? На то и живем, - усмехался он...

Никогда не жалевавший денег на то, чтобы украсить неяркую внешность жены, сам Петр Карлович всегда оставался в затрапезе мастерового. Друзья, ученики, звери - вот круг его друзей.

Брюллову он искренно признавался:

- Я терпеть не могу бывать в Париже!

- Да почему же так, Петя?

- Я могу быть спокоен только близ Уленьки, без нее я не могу быть счастливым, мне всегда грустно и тяжело. Зато как удивительна моя жизнь, когда Уленька рядом со мною...

Жизнь была прекрасной - в прекрасном труде!

Четверка лошадей, укрощаемых волей сильного человека, прославила Аничков мост в столице, копии с клодтовских коней пожелали иметь в Берлине и Неаполе. Иностранные скульпторы приезжали в Петербург, чтобы учиться у Клодта. Знаменитый баталист Орас Берне навестил барона в его мастерской:

- Теперь в мире не существует скульптора-анималиста, который бы осмелился заявить, что не знает образцов, достойных для подражания. Вы, барон, свершили невозможное...

Не только чиновный Петербург, но Берлин, Рим и Париж признали Петра Карловича своим академиком. С утра уже на ногах, небрежно одетый, Клодт встречал знатных гостей и поклонников в мастерской, где его по ошибке принимали за рабочего. Лучше всего он чувствовал себя среди тружеников, а формовщики и литейщики садились за стол барона, словно князя. Слава никак

не соблазняла мастера, а на деньги он смотрел просто. Бедным просителям Клодт обычно говорил:

– Я занят. Покопайся в комод. Возьми сколько надо...

Все брали из комода кто сколько хотел и, конечно, долгов не возвращали. Михаил Клодт рассказывал о своем отце:

– Моего папочку просто грабили! Однажды повадилась шляться к нам здоровущая дама под траурной вуалью. Падала на колени. Рыдала. Басом взывала о пособии. Отец, конечно, отсылал ее прямо «в комод». Потом, когда эта дама убралась, горничная сказала папе: «На лестнице-то эта стерва юбки свои задрала, а там видны сапоги со шпорами». «А я и сам заметил, что это гренадер, – отвечал папа. – Но если уж гренадер плачет и в ногах у меня ползает, так лучше дать... Бог с ним!»

Клодт не страшился никакого труда, а отдых видел лишь в перемене занятий. Когда умер знаменитый литейщик Вася Екимов, барон занял место у плавильного горна, освоил литейное дело, став начальником литейных мастерских; он делал отливки столь добротнo, что потом их даже не надобно было обрабатывать зубилами.

– Побольше бы нам таких баронов, – с уважением судачили рабочие, когда Клодт, отойдя от горна, весь в вихре раскаленных брызг, хлебал квас, заедая его горбушкой хлеба...

На лето он вывозил семью в Павловск, где ютился на скромной даче. Уленька любила бродить по лесам, собирая грибы и ягоды, она возвращалась в венке из цветов, загорелая и чистая, прекрасная и обожаемая, и Клодт откровенно любовался своей подругой. Гостей на даче было не счесть, и Михаил Клодт так рассказывал о дачной жизни:

– Бывало, как наедут, аж дача трещит. Ну, дам клали спать в доме, а мужчин сваливали вповалку на сеновал или в конюшню. Никто не обижался. Отец был выдумщик. Изобрел всякие дома на колесах. Случалось, едет наш семейный тарантас, а следом бегут за нами детишки: «Цыгане приехали... цыгане!»

На крыльце клодтовской дачи сидел страшилище-волк и, хищно лязгая зубами, встречал гостей вроде швейцара – добрейший зверь, сроднившийся с людьми до такой степени, что стал товарищем детских игр, а семью Клодтов он считал своею родной «стаей». По соседству проживали на даче Брюлловы, которых частенько навещал Петр Соколов, академик акварельной живописи, почти воздушной, пленительной.

Бывал он и у Клодтов, однажды он сказал Уленьке:

– Рисовал я тебя еще девочкой. Давай-ка присядь на минутку да не вертись... хочу снова делать с тебя портрет.

Сейчас он хранится в Третьяковской галерее, вызывая всеобщее восхищение. Казалось, годы совсем не коснулись этой женщины, которая, вернувшись с прогулки, присела возле букета цветов, настроенная позировать, но поглощенная своим большим женским миром, в котором – семья, муж, работа и... счастье.

– Петр Федорович, скажи, я очень состарилась?

– Нет, – отвечал Соколов, – все такая же... резвушка.

– А еще кто я?

– Еще ты болтушка.

– А еще?

– Еще ты баронесса...

После смерти баснописца Крылова по всей стране была объявлена всенародная подписка на сооружение ему памятника в Летнем саду столицы, где Иван Андреевич любил при жизни гулять, а теперь гуляли дети, знавшие наизусть его басни. Клодт победил на конкурсе своих талантливых коллег – Витали и Пименова. Клодтовский Крылов – это «ума палата», он воссел поверх пьедестала, как в кресле, а под ним мирно расположился целый мир его героев: львы и слоны, лягушки и лисицы, лошади и мартышки, петухи и бараны, а

ворона держала сыр в клюве. Этим памятником Крылову завершилось украшение Летнего сада!

- Ты устал? - спрашивала жена.

- Нет. Но, кажется, начала уставать ты.

- Да. Я начала уставать от безмерности своего счастья...

Дом Клодтов был всегда наполнен не только людьми, но и зверями, позировавшими художнику, и, как заметили очевидцы, все звери жили единой дружной семьей, переняв от хозяев лучшие качества доброты и ласки. Один только осел (на то он и осел!) оказался крайне строптивым, он часто убегал из дома, обожая, как ни странно, похоронные процессии с оркестром, которые торжественно замыкал собственной персоной, сопровождая покойников до кладбища, после чего возвращался в свое стойло - как ни в чем не бывало. Однажды, получив заказ на создание фигуры рыкающего льва для украшения генеральского надгробия, Петр Карлович очень переживал, что у него в доме не догадались завести хорошего льва:

- Уж я бы, душенька, в бифштексах ему не отказывал, дети бы его в парк ради прогулок за хвост выводили.

- И не проси! - отвечала Уленька. - Сегодня тебе льва для украшения генеральского праха, а завтра адмирал помрет, так тебе крокодила подавай... Ты сам-то подумай, во что наш дом превратился, гостей к нам и калачом не заманишь!..

Клодт трудился, как раньше, но однажды признался:

- Мозг по-прежнему ясен, руки преисполнены силой, но болят ноги. Очевидно, сырость мастерских все-таки сказалась...

В доме появились первые внуки, и великий мастер засел за сапожный верстак, чтобы шить детскую обувь.

- Как твои ноги? - беспокоилась за него Уленька.

– Болят, – пожаловался он жене, – ходить трудно, а сидя надо что-то делать. Хоть сапожки внучатам...

Но милая, милая Уленька все-таки опередила его.

22 ноября 1859 года она скончалась, ее могилу на Смоленском кладбище украсила лаконичная надпись: «Клодт фон Юргенсбург, баронесса Иулиания». Петр Карлович остался один.

В ноябре 1867 года задували метели, когда он жил на даче в Халоле и внучка просила дедушку вырезать ей лошадку.

Клодт взял игральную карту и ножницы.

– Деточка! Когда я был маленьким, как ты, мой бедный отец тоже радовал меня, вырезая из бумаги лошадок...

Лицо его вдруг перекосилось, внучка закричала:

– Дедушка, не надо смешить меня своими гримасами!

Клодт покачнулся и рухнул на пол.

Когда собрались родственники, они застали его лежащим среди вырезок фигур животных, а на сапожном верстаке стояли не дошитые до конца детские башмачки.

Сын Михаил надел фартук и стал снимать маску с лица.

– Тяжкая была работа, – говорил он в старости. – Знаете, отец всю жизнь трудился, как вол, но умер сущим бедняком. Не умел копить. Не умел и не хотел. К славе был равнодушен, а корыстен не был. После него в комодке остались шестьдесят рублей и два лотерейных билета... Нам, Клодтам, пришлось хоронить отца на пособие от Академии художеств.

Все любили супругов Клодтов, а не любили их только клеветники и завистники чужой славы – и не это ли является наилучшей характеристикой для художника и семьянина?

Но, думая о мастере, я всегда ставлю рядом с ним Уленьку.

В старой русской жизни очень много чистых и светлых образов женщин и матерей, которые ничего героического не совершили, но своим присутствием в жизни, своей любовью и лаской умели хранить драгоценное тепло семейных очагов, свято любящие и свято любимые.

В моем представлении, образ Уленьки, как и «Светлана» поэта Жуковского, проплывает в истории подобно легкому светлему облаку. Память о ней я посвящаю Клодтам-художникам, ее потомкам, живущим и работающим среди нас...

Удаляющаяся с бала

В обстановке бедности, близкой к нищете, в Париже умирала бездетная и капризная старуха, жившая только воспоминаниями о том, что было и что умрет вместе с нею. Ни миланским, ни петербургским родичам, казалось, не было дела до одинокой женщины, когда-то промелькнувшей на русском небосклоне «как беззаконная комета в кругу расчисленных светил».

В 1875 году ее закопали на кладбище Пер-Лашез, предав забвению. Но «Графиню Ю. П. Самойлову, удаляющуюся с бала» помнили знатоки искусств, и она снова и снова воскресала во днях сверкающей молодости, оставаясь бессмертной на полотнах кисти Карла Брюллова. Казалось, она не умерла, а лишь удалилась с пышного «маскарада жизни», чтобы еще не раз возвращаться к нам из загадочных потемок былого. А. Н. Бену, тонкий ценитель живописи, писал, что отношения мастера с Самойловой достаточно известны, и, «вероятно, благодаря особенному его отношению к изображаемому лицу, ему удалось выразить столько огня и страсти, что при взгляде на них сразу становится ясной вся сатанинская прелесть его модели...»

Чувствую, следует дать родословную справку, дабы ни мне, ни читателю не блуждать в дебрях истории. Начнем с князя Потемкина-Таврического. Его родная племянница, Екатерина Васильевна Энгельгардт, безо всякой любви, а только от скуки стала женою екатерининского дипломата графа Павла Скавронского. Когда этот аристократ окончательно «догнул» среди красот Италии, вдова его – на этот раз по страстной любви! – вышла замуж за адмирала русского флота, мальтийского кавалера и графа Юлия Помпеевича Литта. От первого брака Екатерина Васильевна имела двух дочерей: Екатерина стала женой прославленного полководца князя Петра Ивановича Багратиона, а ее сестра Мария вышла за графа П. П. фон дер Палена.

Павел Петрович Пален от брака с Марией Скавронской оставил одну дочь – Юлию Павловну, родившуюся в 1803 году. Современников поражала ее ослепительная внешность «итальянки», а черные локоны в прическе Юлии никак не гармонировали с бледными небесами севера. Впрочем, сохранилось смутное предание, что ее бабка, жившая в Италии, не слишком-то была верна своему мужу – отсюда и пылкость натуры Юлии, ее черты лица южанки...

Именно она одарила дружбою и любовью художника, сохранившего ее красоту на своих портретах. Написав эту фразу, я невольно задумался: а можно ли отвечать на чувства женщины, которая то приближается, то удаляется от тебя?

Наверное, можно. Карл Павлович Брюллов доказал это!

Странно, что эта богатейшая красавица засиделась в невестах и только в 1825 году нашла себе мужа. Это был столичный «Алкивиад», как называли графа Николая Александровича Самойлова, внучатого племянника того же Потемкина-Таврического.

В замужестве она не извела счастья, ибо «Алкивиад», будучи образцом физического развития, являлся и образцовым кутилой. Управляющим же его именьями был некий Шурка Мишковский, пронырливый конторщик, ставший доверенным графа в его делах и кутежах, а заодно и тайным утешителем молодой графини. В журнале «Былое» за 1918 год были опубликованы те места из мемуаров А. М. Тургенева, которые до революции не могли быть напечатаны по цензурным соображениям. А. М. Тургенев, много знавший, писал, что Мишковский за свои старания угодить обоим супругам получил от Самойловой

заемных писем на 800 000 рублей. Узнав об этом, адмирал Литта огрел его дубиной:

– Ежели ты, вошь, не возвратишь векселя графини, обещаю тебе бесплатное путешествие до рудников Сибири...

В конце 1826 года возникли слухи о примирении супругов, в письме от 1 декабря поэт Пушкин даже поздравил графа Самойлова с возвращением в объятия жены. Но вскоре последовал окончательный разрыв – после того, как Юлией увлекся Эрнест Барант, сын французского посла (тот самый Барант, с которым позже дрался на дуэли Михаил Лермонтов). Чета Самойловых разъехалась, и молодая женщина поселилась в Славянке под Петербургом, доставшейся ей по наследству от графов Скавронских. Богатство и знатное происхождение придавали Самойловой чувство полной независимости, свободной от стеснительных условий света. Иногда кажется, что она даже сознательно эпатировала высшее общество столицы своим вызывающим поведением.

Восстание декабристов было событием недавним, и Николай I пристально надзирал за чередой ночных собраний в Славянке (за Павловском, ныне дачная станция Антропшино), куда съезжались не только влюбленные в графиню, но и люди с подозрительной репутацией. Чтобы одним махом разорить дотла это гнездо свободомыслия, император однажды резко заявил Самойловой:

– Графиня, я хотел бы купить у вас Славянку.

Если цари просят, значит, они приказывают.

– Ваше величество, – отвечала Юлия Павловна, – мои гости ездили не в Славянку, а лишь ради того, чтобы видеть меня, и где бы я ни появилась, ко мне ездить не перестанут.

– Вы слишком дерзки! – заметил цезарь.

– Но моя дерзость не превосходит той меры, какая приличествует в приватной беседе между двумя родственниками...

Таким ответом (еще более дерзким!) Юлия дала понять царю, что в ее жилах течет кровь Скавронских, которая со времен Екатерины I пульсирует в каждом члене семьи правящей династии Романовых. Назло императору, желая доказать, что в Славянку ездили не ради самой Славянки, Юлия Павловна стала выезжать для прогулок на «стрелку» Елагина острова, а за ней, словно на буксире, на версту тянулся кортеж всяких карет и дрожек, в которых сидели поклонники графини, счастливые даже в том случае, если она им улыбнется.

Среди безнадежно влюбленных в Самойлову был и Эммануил Сен-При, гусарский корнет, известный в Петербурге карикатурист (его помянул Пушкин в романе «Евгений Онегин» и в стихах «Счастлив ты в прелестных дурах»). Но молодой повеса счастлив не был – застрелился! Поэт Вяземский записывал в те дни: «Утром нашли труп его на полу, плавающий в крови. Верная собака его облизывала рану». Причиной самоубийства гусара считали неразделенное чувство, вызванное в нем опять-таки Самойловой. Со стороны могло показаться, что Юлия Павловна способна нести мужчинам одни лишь страдания и несчастья, но зато для Карла Брюллова она стала его спасительницей...

Это случилось в 1828 году, когда Везувий угрожал Неаполю новым извержением кипящей лавы. Год был труден для Брюллова, измученного трагической любовью к нему некоей Аделаиды Демулен: ревнивая до безумия, она кинулась в воды римского Тибра, а друзья Брюллова жестоко обвиняли его в равнодушии.

– Я не любил ее, – оправдывался Карл Павлович, – и последнее письмо ее прочитал, лишь узнав о ее смерти...

В доме князя Григория Ивановича Гагарина, посла при Тосканском дворе, уже заканчивался ужин, когда, ошеломив гостей, вдруг стремительно появилась статная рослая женщина, само воплощение той особой красоты, которую хотелось бы лицезреть постоянно, – так Брюллов впервые встретил графиню Юлию Самойлову, и хозяин дома дружески предупредил художника:

– Бойтесь ее, Карл! Эта женщина не похожа на других. Она меняет не только привязанности, но и дворцы, в которых живет. Не имея своих детей, она объявляет чужих своими. Но я согласен, и согласитесь вы, что от нее можно сойти с ума...

Самоубийство корнета Сен-При никак не задело Самойлову, но зато гибель несчастной Демулен повергла Брюллова в отчаяние. Князь Гагарин, чтобы обереечь художника от хандры и сплетен, увез его в имение Гротта-Феррата, где Брюллов залечивал свое горе чтением и работой. Но и в эту тихую сельскую жизнь, словно мятежный вихрь, однажды ворвалась Юлия Самойлова.

– Едем! – решительно объявила она. – Может, грохотание Везувия, готового похоронить этот несносный мир, избавит вас от меланхолии и угрызений совести... Едем в Неаполь!

В пути Брюллов признался, что ему страшно.

– Вы боитесь погибнуть под прахом Везувия?

– Нет. Рафаэль прожил тридцать семь лет, а я вступаю уже в третий десяток и ничего великого еще не свершил.

– Так свершайте, – смеялась Юлия...

Кто он и кто она? Ему, труженику из семьи тружеников, пристало ли заглядываться на ее красоту? Петербург отказывал Карлу даже в присылке пенсионных денег, а рядом с ним возникла женщина, не знавшая меры страстям и расходам, навещавшая иногда Францию, где у нее было имение Груссе, переполненное фамильными сокровищами. Наконец, как прекрасно ее палаццо в Милане, а еще лучше вилла на озере Комо, где ее посещали композиторы Россини и Доницетти... Самойлова была умна и, кажется, сама догадалась, что угнетает бедного живописца.

– Так и быть, я согласна быть униженной вами.

– Вы? – удивился Брюллов.

– Конечно! Если я считаю себя равней императору, то почему бы вам, мой милый Бришка, не сделать из меня свою рабыню, навеки покоренную вашим талантом? Ведь талант – это тоже титул, возвышающий художника не только над аристократией, но даже над властью коронованных деспотов...

Брюллов писал с нее портреты, считая их незаконченными, ибо Юлия Павловна не любила позировать – некогда! Ей всегда было некогда. На одном из полотен она представлена возвращающейся с прогулки, она порывисто вбегает в комнату – под восхищенными взорами девочки и прислуги-арапки. Бегом, бегом...

– Некогда, я привыкла спешить, – говорила она.

Наконец грянул «Последний день Помпеи», и он прославил живописца – сразу и на века! Брюллов стал кумиром Италии: за ним ходили по пятам, как за чемпионом, поднявшим гирию небывалого веса, мастера зазывали в гости, жаждали узнать его мнение, высоко ценили каждый штрих брюлловского карандаша, наконец, Карла Павловича донимали заказами.

«Брюллов меня просто бесит, – разгневанно писала княгиня Долгорукая, давно умолявшая художника о свидании. – Я его просила прийти ко мне, я стучалась к нему в мастерскую, но он не показался. Вчера я думала застать его у князя Гагарина, но он не пришел... Это оригинал, для которого не существует доводов рассудка!» Быть рассудочным Брюллов не умел и не хотел. Маркиза Висконти, очень знатная дама, которой он обещал рисунок, тоже не могла залучить маэстро к себе. Вернее, он приходил к ней, но каждый раз оставался в прихожей дворца, удерживаемый там красотой сопливой девчонки – дочери швейцара. Напрасно маркиза и ее гости изнывали от нетерпения: Брюллов, налюбовавшись красотой девочки, уходил домой, сонно позевывая. Наконец маркиза Висконти сама спустилась в швейцарскую!

– Гадкая девчонка! Если твое общество для Брюллова дороже общества моих титулованных друзей, так скажи ему, что ты желаешь иметь его рисунок и... отдашь его мне!

Получался забавный анекдот: рисунок для маркизы был сделан по заказу дочери швейцара той же маркизы. Если светская молва обвиняла Самойлову в ветрености, то Брюллов, воспевавший ее в своих картинах, тоже бывал непостоянен. Но при этом: «Верный друг», – пылко говорила Юлия художнику; «Моя верная подруга», – нежно отзывался о ней Брюллов... Много позже, когда возникал мучительный спор о чистоте их отношений, графиня Юлия Павловна в раздражении отвечала:

– Ах, оставьте! Поймите, что между мною и великим Карлом ничего не делалось по вашим правилам... Правила могли существовать для всех, но только не для меня и не для Карла!

Знатоки творчества Брюллова, проникшие в тайну их отношений, пристально изучали гигантское полотно «Последний день Помпеи», отыскивая среди погибающих лиц главной героини:

– Вот он сам, спасающий атрибуты священного искусства... рядом с ним и она! С кувшином на голове, а в глазах застыл ужас. Богиню его сердца легко узнать и в павшей женщине, уже поверженной колебаниями земли. А вот и опять Самойлова, привлекающая к себе дочерей – жест матери, полный отчаяния...

Знаменитая «Мадонна Литта» кисти Леонардо да Винчи (ныне украшающая Эрмитаж) досталась графине Самойловой от адмирала Юлия Помпеевича Литта, боготворившего свою «внучку», как родную дочь. Он буквально обрушил на нее свое колоссальное наследство в Италии и в России, сделав Юлию не в меру расточительной: постоянно окруженная композиторами, артистами и художниками, эта женщина, в душе очень добрая, старалась помочь всем. Если на родине она считала себя ровней императора, то под солнцем Италии тоже не оказалась чужой, ибо графы Литта, когда-то владевшие городом Миланом, были известны в истории Италии.

Юлия Павловна могла бы сказать Брюллову:

– Не странно ли? Среди пращуров моего «деда» были и такие, при дворе которых работал великий Леонардо да Винчи, а теперь я, наследница их потомков, имею у своих ног тебя... моего славного, моего драгоценного друга Бришку!

...Иван Бочаров, наш талантливый историк искусств, столь много сделавший для раскрытия тайн брюлловского творчества в Италии, отыскал в Милане даже побочных потомков – сородичей графини Самойловой, но раскрытие одних загадок тут же порождало другие загадки – и любви, и творчества. Наверное, нам теперь легче выяснить, куда и на кого промотала Юлия Павловна свое наследство от адмирала Литта и графов Скавронских, нежели узнать, куда делись утраченные шедевры кисти Брюллова, которыми он столь щедро одаривал свою блистательную подругу...

Карл Павлович Брюллов всегда был для нее «Бришка драгоценный», но для нас он останется национальной гордостью!

Пушкин ведь тоже мечтал иметь рисунок его руки...

Возвращение Брюллова на родину было триумфальным, и Пушкин хотел заказать ему портрет пленительной Натали, уверенный, что красота жены вдохновит гениального маэстро.

В одном из писем поэт описывал жене свое посещение Перовского, который показывал ему не законченные Брюлловым эскизы для картины на тему о взятии Рима Гензерихом. Свое восхищение Перовский пересыпал бранью, ибо с Брюлловым он повздорил:

– Заметь, как прекрасно этот подлец нарисовал всадника, мошенник такой! Как он сумел, эта свинья, выразить свою канальскую, гениальную мысль, мерзавец он, bestия! Как нарисовал он всю эту группу, пьяница он, мошенник и негодяй...

О том, как работал Брюллов на родине, написано очень много.

У него все получалось. Слава гения росла, но росло и недовольство той сумбурной жизнью, какую он вынужден был жить в окружении собутыльников. Брюллову захотелось трезвого покоя и семейного уюта. В доме баталиста Зауэрвейда, любимца двора Николая I, случайно он встретил тихую и скромную девушку – Эмилию Федоровну Тимм, дочь рижского бургомистра. В самом расцвете наивной юности, нежная, как весенний ландыш, она показалась усталому мастеру именно той единственной, которая, может быть, удалит из сердца давнюю страсть к чересчур пылкой, излишне переменчивой, вечно неудовлетворенной Юлии. Карл Павлович всегда поддавал под сильное влияние музыки, а тут... Тут изящная Эмилия Тимм увлекла его игрою на рояле и своим пением, причем ее почтенный отец искусно подыгрывал дочери на скрипке.

...Нет, Брюллов не кинулся на колени перед ангельским созданием, не клялся в вечной любви: прежде всего он был художник, и потому выразил свой восторг в создании портрета прекрасной Эмилии; сейчас он хранится в Третьяковской галерее, где его считают шедевром гения. Казалось бы, все уже ясно...

Но вскоре Брюллову пришлось писать шефу жандармов Бенкендорфу позорное объяснение: «Я влюбился страстно, – признавался художник. – Родители невесты, в особенности отец, тотчас составили план женить меня на ней... Девушка так искусно играла роль влюбленной, что я не подозревал обмана...» Свадьба состоялась 27 января 1839 года. Тарас Шевченко, бывший тому свидетелем, вспоминал, что Брюллов в день свадьбы был настроен мрачно, словно заранее предчуял будущую беду: «В продолжение обряда Карл Павлович стоял, глубоко задумавшись; он ни разу не взглянул на свою прекрасную невесту». Затем началась семейная жизнь, вполне добропорядочная: молодая Эмилия краснела от нескромных шуток, с учениками мужа поигрывала в картишки, расплачиваясь с ними за проигрыш не пятаками, в которых они так нуждались, а исполнением каватины из оперы «Норма», и казалось, что Брюллов вполне доволен выбором своего сердца.

Н о... Но оно, это зловещее проклятое «но»!

8 марта, через месяц после свадьбы, Эмилия покинула дом Брюллова, по столице расползались самые грязные сплетни:

– Вы слышали? Наш великий Карл оказался садистом, бедняжка не выдержала мук и бежала от него в одной рубашке.

– А я, господа, слышал иное! Брюллов повздорил с отцом жены за картами и разбил ему голову бутылкой... вдребезги!

– Неправда! Будучи пьян, он вырвал из ушей Эмилии серьги вместе с мочками и выгнал несчастную на улицу босиком...

То, что Эмилия от Брюллова бежала – это правда!

Но правда и то, что из своего же дома бежал сам Брюллов; укрываясь от позора, он нашел убежище в семье скульптора Клодта. Разрыв между супругами был скоростигжен и казался необъясним, ибо никто в Петербурге ничего не понимал. А когда люди ничего не знают, тогда их фантазия не знает пределов. Историки долгие годы не раскрывали секрет этого странного разрыва, объясняя свое молчание причинами соблюдения морали. Но при этом, оставляя читателя в неведении, историки – невольны! – не снимали вины с Брюллова; таким образом, читатель был вправе думать о живописце самое худое. Но отныне печать

молчания сорвана, и нам позволено сказать сущую правду. Эмилия Тимм была развращена своим же отцом, который, выдавая ее за Брюллова, желал оставаться на правах любовника дочери. Мало того, когда разрыв уже состоялся, этот мерзавец (кстати, заодно с дочерью) требовал от художника «пожизненной пенсии». Брюллов страдал.

– Как я покажусь на улице? – говорил он жене Клодта. – На меня ведь пальцем станут показывать, как на злодея. Кто поверит в мою невинность? А это «волшебное создание» еще осмеливается требовать с меня пенсию... За что?

Дело зашло далеко. Так далеко, что император Николай I повелел Брюллову объяснить графу Бенкендорфу точные причины своего развода. Карл Павлович, насилуя самого себя, был вынужден допустить посторонних людей в ту грязь, в которой его постыдно испачкали. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Как раз в это время не стало графа Литта, который, невзирая на свои семьдесят лет, считал себя еще завидным женихом, читал без очков, а вино хлестал – как гусар на бивуаке. За минуту до смерти он алчно слопал громадную форму мороженого (рассчитанную на 12 порций), а последние слова в этом грешном мире адмирал посвятил искусству своего повара:

– На этот раз мороженое было просто восхитительно!..

Но в смерти графа Литта явилось к Брюллову спасение.

По делам наследства в Петербург срочно примчалась графиня Юлия Самойлова; в Царском Селе она кратко всплакнула над могильной плитой «деда» Литта и поспешила явиться в столичном свете, где ее с большим трудом узнавали. «Она так переменялась, – сообщал К. Я. Булгаков, – что я бы не узнал ее, встретив на улице: похудела, и лицо сделалось итальянским. В разговоре же она имеет итальянскую живость и сама приятна...»

Сразу оповещенная о клевете, возводимой на ее друга, Юлия Павловна – сплошной порыв, как на ее портретах! – кинулась к нему в мастерскую. Она застала его удрученным бедами.

Он был несчастен, но... уже с кистью в руке.

– Жена моя – художество! – признался Брюллов.

Юлия все перевернула вверх дном в его квартире. Она выгнала кухарку, нанятую Эмилией Тимм; она надавала хлестких пощечин пьяному лакею; она велела гнать прочь всех гостей, жаждущих похмелиться, и, наверное, она могла бы сказать Брюллову те самые слова, которые однажды отправила ему с письмом: «Я поручаю себя твоей дружбе, которая для меня более чем драгоценна, и повторяю тебе, что никто в мире не восхищается тобой и не любит тебя так, как я – твоя верная подруга».

Так может писать и говорить только любящая женщина...

Утешив Брюллова, она вернулась в Славянку; здесь, в интерьере парадного зала, ее изобразил художник Петр Басин, приятель Брюллова, знавший Самойлову еще по жизни в Италии. Басин исполнил портрет женщины в сдержанной манере, графиня как бы застыла в раздумье; портрет кажется лишь сухо-протокольным отчетом о внешности графини, не более того. Карл Павлович тоже начал портрет любимой женщины, однако совсем в иной манере, изобразив ее опять-таки в порыве никем не предугаданного движения – почти резкого, почти вызывающего, почти протестующего.

Так возникла знаменитая «Графиня Ю. П. Самойлова, удаляющаяся с бала у персидского посланника». Между Самойловой и обществом, которое она покидает, Брюллов опустил тяжелую, ярко пылающую преграду занавеса, словно отрезав ей пути возвращения в общество. Она сорвала маску, представ перед нами во всем откровении своей красоты, а за портьерой занавеса – словно в тумане – колышутся смутные очертания маскарадных фигур.

Самойлова снова удаляется. Неужели... навсегда?

Занавес – словно пламя, в котором сгорает все прошлое, и обратно она уже никогда не вернется. «Санкт-Петербургские ведомости» вскоре известили читателя, что графиня Самойлова покинула столицу, выехав в Европу... навсегда!

Покидая родину в 1840 году, она продала Славянку богачу Воронцову-Дашкову, которую вскоре перекупил у него император, назвав это имение на свой лад – Царская Славянка. Через девять лет Брюллов, уже смертельно больной, тоже

покинул Россию, надеясь, что его излечит благодатный климат Мадеры, но вскоре он вернулся в Италию; можно догадываться, что в канун смерти он все-таки виделся с Юлией Павловной, но... Что мог он сказать ей, остающейся жить, и что могла ответить она ему, уходящему из этого сложного и роскошного мира?

Правду следует договаривать до конца. Заядлая меломанка, Самойлова часто бывала в опере, и однажды, послушав, как заливается тенор Перри, она уехала из театра в одной карете с певцом, объявив ему по дороге домой, чтобы он готовился...

– К чему? – обомлел тенор.

– Я решила сделать из вас своего мужа...

В старой литературе этого певца почему-то иногда величают «доктором». Есть основания подозревать, что Перри увлекли не любовные, а лишь меркантильные соображения: он возмечтал пережить Самойлову, дабы овладеть несметными богатствами русской аристократки. Однако сей молодой человек – в расцвете сил и таланта – не выдержал накала ее страстей и вскоре же умер, оставив Самойлову сорокатрехлетней вдовой. А через год после его кончины в России умер и первый муж Юлии Павловны – знаменитый «Алкивиад», почему она долго носила траур по двум мужьям сразу. Очевидцы, видевшие ее в этот период жизни, рассказывали, что вдовый траур очень шел к ней, подчеркивая ее красоту, но использовала она его весьма оригинально. На длиннейший шлейф траурного платья Самойлова сажала детвору, словно на телегу, а сама, как здоровущая лошадь, катала хохочущих от восторга детей по зеркальным паркетам своих дворцов.

Затем она удалилась в Париж, где медленно, но верно расточала свое богатырское здоровье и свое баснословное богатство на окружающих ее композиторов, писателей и художников. Лишь на пороге старости она вступила в очередной брак с французским дипломатом графом Шарлем де Морнэ, которому исполнилось 64 года, но после первой же ночи разошлась с ним и закончила свои дни под прежней фамилией – Самойлова.

Писать об этой женщине очень трудно, ибо сорок лет жизни она провела вне родины, и потому русские мемуаристы не баловали ее своим вниманием. Если бы не ее близость к Брюллову, мы бы, наверное, тоже забыли о ней...

Но, даже забыв о ней, мы не можем забыть ее портретов.

Вот она – опять удаляется с бала. И никогда не вернется...

Посмертное издание

Плакать хочется, если почести выпадают человеку лишь после его смерти, когда издаются книги, которые автор не мог увидеть при жизни. Зачастую публика с восторгом принимает произведение, вырвавшееся на свет божий из-под тяжкого гнета цензуры. Но иногда случается, что читатели, ознакомившись с такой книгой, испытывают разочарование.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Кафа – нынешний город Феодосия; с давних времен был главным рынком работорговли, где татары продавали русских, украинских и польских женщин для восточных гаремов.

Купить: https://tellnovel.me/ru/pikul_valentin/rekviem-posledney-lyubvi-sbornik

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)